И. С. Тургенев

Отцы и дети

* * *



1818–1883

Отцы и дети

Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского



I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20 мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать, — вторично ответствовал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом,[1] и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в Английский клуб,[2] но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла.

Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичным двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться… но тут настал 48-й год.[3] Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, — и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын… кандидат… Аркаша…» — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена… «Не дождалась!» — шепнул он уныло… Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес…

— Никак, они едут-с, — доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица…

— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками… Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

— Дай же отряхнуться, папаша, — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, — я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего, — твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

— Папаша, — сказал он, — позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста, в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь… позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, — продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и

густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

— Так как же, Аркадий, — заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, — сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

— Сейчас, сейчас, — подхватил отец. — Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

— Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, — хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей, — только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель…

— Он в тарантасе поедет, — перебил вполголоса Аркадий. — Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.

— Слышь, Митюха, — подхватил другой, тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа, — барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

— Живей, живей, ребята, подсобляйте, — воскликнул Николай Петрович, — на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку — и оба экипажа покатили.

III

— Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, — говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. — Наконец!

— А что дядя? здоров? — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось

поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

— Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

— А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий.

— Да часов около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

— Какую я тебе славную лошадь приготовил! — начал он, — ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно с ним познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается?

— Главный предмет его — естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

— А! он по медицинскому факультету, — заметил Николай Петрович и помолчал. — Петр, — прибавил он и протянул руку, — это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

— Точно так-с, — промолвил Петр.

— Куда это они едут, в город, что ли?

— Полагать надо, что в город. В кабак, — прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, — продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. — Не платят оброка. [4] Что ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да, — процедил сквозь зубы Николай Петрович. — Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука будет. Да разве

тебя теперь хозяйство занимает?

— Тени нет у вас, вот что горе, — заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

— Я с северной стороны над балконом большую маркизу[5] приделал, — промолвил Николай Петрович, — теперь и обедать можно на воздухе.

— Что-то на дачу больно похоже будет… а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь…

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

— Конечно, — заметил Николай Петрович, — ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным…

— Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

— Однако…

— Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

— Не помню, писал ли я тебе, — начал Николай Петрович, — твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

— Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

— Приказчик у тебя все тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet,[6] — заметил вполголоса Николай Петрович, — но ведь он — камердинер.[7] Теперь у меня приказчик[8] из мещан:[9] кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, — прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, — я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине… Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя…

Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски.

— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну.

Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета… Словом, эта… эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал…

— Фенечка? — развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

— Не называй ее, пожалуйста, громко… Ну да… она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме… там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

— Помилуй, папаша, зачем?

— Твой приятель у нас гостить будет… неловко…

— Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

— Ну, ты, наконец, — проговорил Николай Петрович. — Флигелек-то плох — вот беда.

— Помилуй, папаша, — подхватил Аркадий, — ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

— Конечно, мне должно быть совестно, — отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. — Перестань, пожалуйста, — повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце… Но он тут же обвинил себя.

— Вот это уж наши поля пошли, — проговорил он после долгого молчания.

— А это впереди, кажется, наш лес? — спросил Аркадий.

— Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

— Зачем ты его продал?

— Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

— Которые тебе оброка не платят?

— Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

— Жаль леса, — заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги,

напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами[10] возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня, вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами… «Нет, — подумал Аркадий, — небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы… но как их исполнить, как приступить?..»



Так размышлял Аркадий… а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления… Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

— Теперь уж недалеко, — заметил Николай Петрович, — вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно, — промолвил Аркадий, — но что за чудный день сегодня!

— Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным — помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
Какое…

— Аркадий! — раздался из тарантаса голос Базарова, — пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

— Хочешь сигарку? — закричал опять Базаров.

— Давай, — отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий Хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку[11] с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

— Вот мы и дома, — промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо, — заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. — Николай

Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. — Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

— Вот он, Прокофьич, — начал Николай Петрович, — приехал к нам наконец… Что? как ты его находишь?

— В лучшем виде-с, — проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. — На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку, — прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься, — отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский *сьют*,[12] модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной: особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»,[13] он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил:

— Добро пожаловать.

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович

слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня, — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. — Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось, — отвечал Аркадий, — так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

— Постой, я с тобой пойду! — воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана.

Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

— Он у нас гостить будет?

— Да.

— Этот волосатый?

— Ну да.



Павел Петрович постучал ногтями по столу.

— Я нахожу, что Аркадий s’est degourdi,[14] — заметил он. — Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или, скорее, восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова

«папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

— А чудаковат у тебя дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь, — ответил Аркадий, — ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело, — продолжал Базаров, — эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения… ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постели, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного… О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле,[15] перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний нумер *Galignani*,[16] но он не читал; он глядел

пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя… Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке[17] и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! — подумал он, посмотрев кругом, — местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что, — отвечал ему Базаров, который владел особенным уменьем возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, — я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Разве ты дохтур?

— Да.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

— Я их боюсь, лягушек-то, — заметил Васька, мальчик лет семи, с

белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

— Чего бояться? разве они кусаются?

— Ну, полезайте в воду, философы, — промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

— Федосья Николавна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

— Я сам разолью, сам, — поспешно подхватил Николай Петрович. — Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

— Со сливками, — отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: — Папаша?



Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

— Что? — промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

— Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, — начал он, — но ты сам, вчерашнею своею

откровенностью, меня вызываешь на откровенность… ты не рассердишься?..

— Говори.

— Ты мне даешь смелость спросить тебя… Не оттого ли Фен… не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

— Может быть, — проговорил он наконец, — она предполагает… она стыдится…

Аркадий быстро вскинул глаза на отца.

— Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых — захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

— Спасибо, Аркаша, — глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. — Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила… Это не легкомысленная прихоть. Мне нелегко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

— В таком случае, я сам пойду к ней, — воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. — Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

— Аркадий, — начал он, — сделай одолжение… как же можно… там… Я тебя не предварил…

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустился на стул. Сердце его забилось… Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в

виде ощущений — и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

— Мы познакомились, отец! — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. — Федосья Николаевна, точно, сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия… Аркадий бросился ему на шею.

— Что это? опять обнимаетесь? — раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

— Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович. — В кои-то веки дождался я Аркаши… Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

— Я вовсе не удивляюсь, — заметил Павел Петрович, — я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно. — Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. — Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именьице. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ… То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был

лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович повел усами. — Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.[18]

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист, — повторил Аркадий.

— Нигилист, — проговорил Николай Петрович. — Это от латинского *nihil, ничего,* сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает?

— Скажи: который ничего не уважает, — подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения, — заметил Аркадий.

— А это не все равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсипов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на первый слог), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela,[19] дай вам бог здоровья и генеральский чин,[20] а мы только любоваться вами будем, господа… как бишь?

— Нигилисты, — отчетливо проговорил Аркадий.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо

Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски-пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

— Здравствуй, Фенечка, — проговорил он сквозь зубы.

— Здравствуйте-с, — ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

— Вот и господин нигилист к нам жалует, — промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью[21] его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пиявки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов, — равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет, — заметил Павел Петрович. — В принсипы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома

«дибоширничает» и от рук отбился. «Такой уж он Езоп, — сказал он между прочим, — всюду протестовал себя[22] дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов,[23] ты можешь убить их, Аркадий.

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учители, — небрежно отвечал Базаров.

Слово «германцы» вместо «немцы» Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение, — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он

весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все, — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

— Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер,[24] что ли, *Гётте*[25]... Брат вот им особенно благоприятствует… А теперь пошли все какие-то химики да материалисты…

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров.

— Вот как, — промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. — Вы, стало быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — воскликнул Базаров с презрительною усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел… Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор:

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих[26] сделал удивительные открытия насчет удобрений полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

— Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза[27] не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист», — подумал Николай Петрович.

— Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, — прибавил он вслух. — А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

— Да, — проговорил он, ни на кого не глядя, — беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хвать! — оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак.[28] Что делать! Видно, молодежь, точно, умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

— Что, он всегда у вас такой? — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, — заметил Аркадий. — Ты его оскорбил.

— Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбие, львиные привычки,[29] фатство.[30] Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад… А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебе его покажу.

— Я тебе обещался рассказать его историю, — начал Аркадий.

— Историю жука?

— Ну, полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

— Я не спорю; да что он тебе так дался?

— Надо быть справедливым, Евгений.

— Это из чего следует?

— Нет, слушай…

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в Пажеском корпусе.[31] Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен — он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился,

даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять-шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось.



В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над Псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и серы, — но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, — загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем, даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе — бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью: она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов

чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

— Что это? — спросила она, — сфинкс?

— Да, — ответил он, — и этот сфинкс — вы.

— Я? — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. — Знаете ли, что это очень лестно? — прибавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядели все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие… но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене[32] он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила… но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна… Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностию, — знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии, близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный,

близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастием, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он все потерял.

— Я не зову теперь тебя в Марьино, — сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены), — ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

— Я был еще глуп и суетлив тогда, — отвечал Павел Петрович, — с тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее, даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные,

аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном[33] у Людовика-Филиппа;[34] за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами…

— Вот видишь ли, Евгений, — промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, — как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги, — имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, — но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон…

— Известное дело: нервы, — перебил Базаров.

— Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы… особенно… особенно насчет отношений к женщинам.

— Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

— Ну, словом, — продолжал Аркадий, — он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его — грешно.

— Да кто его презирает? — возразил Базаров. — А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек — не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

— Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, — заметил Аркадий.

— Воспитание? — подхватил Базаров. — Всякий человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, например… А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию

глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с» — и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l'argent»,[35] — и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен, — рассуждал он сам с собою, — его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши, — говаривал он, — а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

— Кто там? Войдите, — раздался голос Фенечки.

— Это я, — проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась со своим

ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

— Извините, если я помешал, — начал Павел Петрович, не глядя на нее, — мне хотелось только попросить вас… сегодня, кажется, в город посылают… велите купить для меня зеленого чаю.

— Слушаю-с, — отвечала Фенечка, — сколько прикажете купить?

— Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена, — прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. — Занавески вот, — промолвил он, видя, что она его не понимает.

— Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

— Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

— По милости Николая Петровича, — шепнула Фенечка.

— Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

— Конечно, лучше-с.

— Кого теперь на ваше место поместили?

— Теперь там прачки.

— А!

Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет», — думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

— Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил наконец Павел Петрович. — Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

— Дуняша, — кликнула она, — принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила *вы).* А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

— Да все равно, — заметил Павел Петрович.

— Я сейчас, — ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным

образом Николая чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, — больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой — Ермолов,[36] в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том *Стрельцов*[37] Масальского, перевернул несколько страниц… Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?



— Экой бутуз, — снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чижа и засмеялся.

— Это дядя, — промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.

— Сколько, бишь, ему месяцев? — спросил Павел Петрович.

— Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

— Не восьмой ли, Федосья Николаевна? — не без робости вмешалась Дуняша.

— Нет, седьмой; как можно! — Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы. — Баловник, — проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

— Он похож на брата, — заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» — подумала Фенечка.

— Да, — продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел

Петрович, — несомненное сходство.

Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

— Это дядя, — повторила она, уже шепотом.

— А! Павел! вот где ты! — раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

— Славный у тебя мальчуган, — промолвил он и посмотрел на часы, — а я завернул сюда насчет чаю…

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

— Сам собою зашел? — спросил Фенечку Николай Петрович.

— Сами-с; постучались и вошли.

— Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

— Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

— Это зачем?

— Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

— Н… нет, — произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. — Надо было прежде… Здравствуй, пузырь, — проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

— Николай Петрович! что вы это? — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их… Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» — пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну

только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая», — сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки.

Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей:

— Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

— Здравствуйте, — прошептала она, не выходя из своей засады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать, Арина, умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так

одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный… Остальное досказывать нечего…

— Так-таки брат к тебе и вошел? — спрашивал ее Николай Петрович. — Постучался и вошел?

— Да-с.

— Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая, при всяком его взлете, протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance[38] из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином… Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

— Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо, — прибавил он, — потому что акация да сирень — ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

— Кто это? — спросил его Базаров, как только они прошли мимо. — Какая хорошенькая!

— Да ты о ком говоришь?

— Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

— Ага! — промолвил Базаров. — У твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо

познакомиться, — прибавил он и отправился назад к беседке.

— Евгений! — с испугом крикнул ему вослед Аркадий. — Осторожней, ради бога.

— Не волнуйся, — проговорил Базаров, — народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.

— Позвольте представиться, — начал он с вежливым поклоном, — Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

— Какой ребенок чудесный! — продолжал Базаров. — Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

— Да-с, — промолвила Фенечка. — Четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

— Покажите-ка… Да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

— Вижу, вижу… Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

— Здорова, слава богу.

— Слава богу — лучше всего. А вы? — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

— Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.

Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

— Как он у вас тихо сидел, — промолвила она вполголоса.

— У меня все дети тихо сидят, — отвечал Базаров, — я такую штуку знаю.

— Дети чувствуют, кто их любит, — заметила Дуняша.

— Это точно, — подтвердила Фенечка. — Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

— А ко мне пойдет? — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке. Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

— В другой раз, когда привыкнуть успеет, — снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

— Как, бишь, ее зовут? — спросил Базаров.

— Фенечкой… Федосьей, — ответил Аркадий.

— А по батюшке?.. Это тоже нужно знать.

— Николаевной.

— *Bene*.[39] Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать — ну и права.

— Она-то права, — заметил Аркадий, — но вот отец мой…

— И он прав, — перебил Базаров.

— Ну, нет, я не нахожу.

— Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

— Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! — с жаром подхватил Аркадий. — Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

— Эге-ге! — спокойно проговорил Базаров. — Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Приятели сделали несколько шагов в молчанье.

— Видел я все заведения твоего отца, — начал опять Базаров. — Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

— Строг же ты сегодня, Евгений Васильич.

— И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик бога слопает».

— Я начинаю соглашаться с дядей, — заметил Аркадий, — ты решительно дурного мнения о русских.

— Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

— Это что? — произнес с изумлением Базаров.

— Это отец.

— Твой отец играет на виолончели?

— Да.

— Да сколько твоему отцу лет?

— Сорок четыре.



Базаров вдруг расхохотался.

— Чему же ты смеешься?

— Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias,[40] в…м уезде — играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

X

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал,[41] Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми

силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, — и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощелыгой» и уверял, что он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозилась опять холера, но жители …й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять — он прогулок без цели терпеть не мог, — а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

— Ты отца недостаточно знаешь, — говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

— Твой отец добрый малый, — промолвил Базаров, — но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом… Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал

между тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

— Что бы ему дать? — спросил Аркадий.

— Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft»[42] на первый случай.

— Я сам так думаю, — заметил одобрительно Аркадий. — «Stoff und Kraft» написано популярным языком.

— Вот как мы с тобой, — говорил в тот же день, после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете: — в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович. — Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

— И самолюбие какое противное, — перебил опять Павел Петрович.

— Да, — заметил Николай Петрович, — он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии *красным* величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями, — а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина… помнится, «Цыгане» мне попались… Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую… улыбнулся и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера,[43] девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

— Гм! — промычал он. — Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

— Пробовал.

— Ну и что же?

— Либо я глуп, либо это все — вздор. Должно быть, я глуп.

— Да ты по-немецки не забыл? — спросил Павел Петрович.

— Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати, — начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. — Я получил письмо от Колязина.

— От Матвея Ильича?

— От него. Он приехал в*** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

— Ты поедешь? — спросил Павел Петрович.

— Нет; а ты?

— И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

— Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, — заметил со вздохом Николай Петрович.

— Ну, я так скоро не сдамся, — пробормотал его брат. — У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», — равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить, — начал Павел Петрович, и губы его задрожали, — по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно

и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко», — проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

— Точно так-с; но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, — повторил он с ожесточением, — английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют *свои* обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз, — возразил Базаров, — но что вы хотите этим доказать?

— Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — *эфто,* другие — *эхто:* мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, — а в аристократе эти чувства развиты, — нет никакого прочного основания общественному… bien public…[44] общественному зданию. Личность, милостивый государь, — вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович, — промолвил Базаров, — вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел.

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принсип, а

без принсипов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте — логика истории требует…

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

— Как так?

— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете?

— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаём авторитетов, — вмешался Аркадий.

— Мы действуем в силу того, что мы признаём полезным, — промолвил Базаров. — В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.

— Все?

— Все.

— Как? не только искусство, поэзию… но и… страшно вымолвить…

— Все, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

— Однако позвольте, — заговорил Николай Петрович. — Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить.

— Это уже не наше дело… Сперва нужно место расчистить.

— Современное состояние народа этого требует, — с важностью прибавил Аркадий, — мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию

называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, — я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он — патриархальный, он не может жить без веры…

— Я не стану против этого спорить, — перебил Базаров, — я даже готов согласиться, что в *этом* вы правы.

— А если я прав…

— И все-таки это ничего не доказывает.

— Именно ничего не доказывает, — повторил Аркадий с уверенностию опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович. — Стало быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так? — воскликнул Базаров. — Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом — он русский, а разве я сам не русский?

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

— Мой дед землю пахал, — с надменною гордостию отвечал Базаров. — Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

— Господа, господа, пожалуйста, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

— Не беспокойся, — промолвил он. — Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит

господин… господин доктор. Позвольте, — продолжал он, обращаясь снова к Базарову, — вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным…

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. — Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках…

— Что же вы делаете?

— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда…

— Ну да, да, вы обличители, — так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но…

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству;[45] мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так, — перебил Павел Петрович, — так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом. — Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей,

честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны, — произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать… — продолжал он. — Но как же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила, — заметил Аркадий. Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета, — проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, — хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией![46] Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, *un barbouilleur*,[47] тапёр, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога, — промолвил Базаров. — Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, — ответил Базаров.

— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой.[48] Рафаэля[49] считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости; а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему, — возразил Базаров, — Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

— Браво! браво! Слушай, Аркадий… вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, — флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. — Спор наш зашел слишком далеко… Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, — прибавил он вставая, — когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю, — воскликнул Павел Петрович, — миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

— Ну, насчет общины, — промолвил он, — поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

— Семья, наконец, семья, так как она существует у наших крестьян! — закричал Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем…

— Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа!

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

— Вот, — начал наконец Павел Петрович, — вот вам нынешняя молодежь! Вот они — наши наследники!



— Наследники, — повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. — Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать… Я, наконец, сказал ей, что вы, мол, меня понять

не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

— Ты уже чересчур благодушен и скромен, — возразил Павел Петрович, — я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilli*,[50] и не имеем той дерзкой самонадеянности… И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: «Какого вина вы хотите, красного или белого?» — «Я имею привычку предпочитать красное!» — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновенье…

— Вам больше чаю не угодно? — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

— Нет, ты можешь велеть самовар принять, — отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: bon soir,[51] и ушел к себе в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы, — думал он, — и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами… Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? — подумал он опять, — не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую

осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи: он весь был ясно виден, весь до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, «Stoff und Kraft» — и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения… и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «Pardon, monsieur»,[52] а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость… Куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле… «Но, — думал он, — те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним…

— Николай Петрович, — раздался вблизи его голос Фенечки, — где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно… Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее…

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся — и исчез.

— Я здесь, — отвечал он, — я приду, ступай. «Вот они, следы-то барства», — мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой…

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

— Что с тобой? — спросил он Николая Петровича, — ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая[53] душа…

— Знаешь ли что? — говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. — Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь, какая сделалась здесь погода; а мы

прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

— А оттуда ты вернешься сюда?

— Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в тридцати верстах. Я его давно не видал и мать тоже: надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.

— И долго ты у них пробудешь?

— Не думаю. Чай, скучно будет.

— А к нам на возвратном пути заедешь?

— Не знаю… посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

— Пожалуй, — лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностию скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула… но старичкам вздохнулось легко.

XII

Город ***, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем,[54] отставным гвардии штабс-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли, наконец, такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде.[55] Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима, — говаривал он тогда, — l’energie

est la première qualite d'un homme d'ètat»;[56] а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо[57] и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни… Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности, Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной,[58] жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка;[59] только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец, и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.

Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостию. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа́ всегда», — заметил он, побрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока,[60] и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «is quite a favourite»,[61] как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?

Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с… с… с…ство».

— А? Что? Что такое? Что вы говорите? — напряженно повторяет сановник.

— Сегодня пятница, ваше с… с…ство.

— Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?

— Пятница, ваше с… ссс…ссс…ство, день в неделе.

— Ну-у, ты учить меня вздумал?

Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.

— Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору, — сказал он Аркадию, — ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом… ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.



— Вы будете на этом бале? — спросил Аркадий.

— Он для меня его дает, — проговорил Матвей Ильич почти с сожалением. — Ты танцуешь?

— Танцую, только плохо.

— Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм[62] смешон, il a fait son temps.[63]

— Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не…

— Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко, — перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся. — Тебе тепло будет, а?

Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку…». Аркадий удалился.

Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! — сказал наконец Базаров. — Взялся за гуж[64] — не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков — давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстух, недоедал и недопивал, все распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу,[65] намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя их Кайсаровыми.

Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильевич!» — бросился к Базарову.

— А! это вы, герр Ситников, — проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару, — какими судьбами?

— Вообразите, совершенно случайно, — отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: — Ступай за нами, ступай! У моего отца здесь дело, — продолжал он, перепрыгивая через канавку, — ну, так он меня просил… Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас… (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой — славянскою вязью.[66]) Я надеюсь, вы не от губернатора!

— Не надейтесь, мы прямо от него.

— А! в таком случае и я к нему пойду… Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим… с ними…

— Ситников, Кирсанов, — проворчал, не останавливаясь, Базаров.

— Мне очень лестно, — начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки. — Я очень много слышал… Я старинный знакомый Евгения Васильича и могу сказать — его ученик. Я ему обязан моим

перерождением…

Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом.

— Поверите ли, — продолжал он, — что, когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг… словно прозрел! «Вот, — подумал я, — наконец нашел я человека!» Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слыхали о ней?

— Кто такая? — произнес нехотя Базаров.

— Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, émancipée[67] в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?

— Нет еще.

— Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.

— Хорошенькая она? — перебил Базаров.

— Н… нет, этого нельзя сказать.

— Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?

— Ну, шутник, шутник… Она нам бутылку шампанского поставит.

— Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка все по откупам?

— По откупам, — торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. — Что же? идет?

— Не знаю, право.

— Ты хотел людей смотреть, ступай, — заметил вполголоса Аркадий.

— А вы-то что ж, господин Кирсанов? — подхватил Ситников. — Пожалуйте и вы; без вас нельзя.

— Да как же это мы все разом нагрянем?

— Ничего! Кукшина — человек чудный.

— Бутылка шампанского будет? — спросил Базаров.

— Три! — воскликнул Ситников. — За это я ручаюсь!

— Чем?

— Собственною головою.

— Лучше бы мошною батюшки. А впрочем, пойдем.

XIII

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или *Евдоксия)* Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города ***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?

— Это вы, Victor? — раздался тонкий голос из соседней комнаты. — Войдите.

Женщина в чепце тотчас исчезла.

— Я не один, — промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.

— Все равно, — отвечал голос. — Entrez.[68]

Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос.

На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor», — и пожала Ситникову руку.

— Базаров, Кирсанов, — проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

— Милости просим, — отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: — Я вас знаю, — и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно

скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети говорят, — нарочно, то есть не просто, не естественно.

— Да, да, я знаю вас, Базаров, — повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, — с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) — Хотите сигару?

— Сигарку сигаркой, — подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху, — а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

— Сибарит, — промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) — Не правда ли, Базаров, он сибарит?



— Я люблю комфорт жизни, — произнес с важностию Ситников. — Это не мешает мне быть либералом.

— Нет, это мешает, мешает! — воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака, и насчет

шампанского. — Как вы об этом думаете? — прибавила она, обращаясь к Базарову. — Я уверена, вы разделяете мое мнение.

— Ну нет, — возразил Базаров, — кусок мяса лучше куска хлеба, даже с химической точки зрения.

— А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

— Мастику? вы?

— Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина *роняла* свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят с своими няньками.

— Меня зовут Аркадий Николаич Кирсанов, — проговорил Аркадий, — и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

— Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

— За что?

— Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда.[69] Отсталая женщина, и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном![70] Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время — как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич![71] Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

— Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

— Вы опасный господин; вы такой критик. Ах, боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей — удивительный тип, точно Патфайндер[72] Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

— Город как город, — хладнокровно заметил Базаров.

— Все такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам

жила в Москве… но теперь там обитает мой благоверный, мсьё Кукшин. Да и Москва теперь… уж я не знаю — тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

— В Париж, разумеется? — спросил Базаров.

— В Париж и в Гейдельберг.[73]

— Зачем в Гейдельберг?

— Помилуйте, там Бунзен![74]

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

— Pierre Сапожников… вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Помилуйте, Pierre Сапожников… он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

— Я и ее не знаю.

— Ну, вот он взялся меня проводить… Слава богу, я свободна, у меня нет детей… Что это я сказала: *слава богу!* Впрочем, это все равно.

Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

— А вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

— По моей, по моей, — пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

— Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку.

— Есть, — отвечала Евдоксия, — да все они такие пустые. Например, mon amie[75] Одинцова — недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то… Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего… этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

— Ничего вы с ними не сделаете, — подхватил Ситников. — Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы

мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

— Да им совсем не нужно понимать нашу беседу, — промолвил Базаров.

— О ком вы говорите? — вмешалась Евдоксия.

— О хорошеньких женщинах.

— Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?[76]

Базаров надменно выпрямился.

— Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои.

— Долой авторитеты! — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.

— Но сам Маколей[77]… — начала было Кукшина.

— Долой Маколея! — загремел Ситников. — Вы заступаетесь за этих бабенок?

— Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.

— Долой! — Но тут Ситников остановился. — Да я их не отрицаю, — промолвил он.

— Нет, я вижу, вы славянофил!

— Нет, я не славянофил, хотя, конечно…

— Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последователь *Домостроя*.[78] Вам бы плетку в руки!

— Плетка дело доброе, — заметил Базаров, — только мы вот добрались до последней капли…

— Чего? — перебила Евдоксия.

— Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского — не вашей крови.

— Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин, — продолжала Евдоксия. — Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле «De l'amour».[79] Это чудо! Господа, будемте говорить о любви, — прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

— Нет, зачем говорить о любви, — промолвил Базаров, — а вот вы упомянули об Одинцовой… Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

— Прелесть! прелесть! — запищал Ситников. — Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc,

et tin-tin-tin!!.»

— Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая… Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак — предрассудок или преступление, и какие родятся люди — одинаковые или нет? и в чем, собственно, состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить.

Аркадий не вытерпел наконец.

— Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало, — заметил он вслух.

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово, — он занимался больше шампанским, — громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников вскочил вслед за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, — ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше. Она, в своем роде, высоконравственное явление.

— А это заведение *твоего* отца тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного *тыканья* Базарова.

XIV

Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал собственно из уважения к нему, а губернатор, даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича

могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех — одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier français»[80] перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я…» да «ссьма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал: «Enchanté».[81] Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаньям вроде: «Zut», «Ah fichtrrre», «Pst, pst, mon bibi»[82] и т. п. Он произносил их в совершенстве, с настоящим парижским *шиком,* и в то же время говорил «si j'aurais» вместо «si j'avais»,[83] «absolument»[84] в смысле: «непременно», словом, выражался на том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «comme des anges».

Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось, и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил: «Одинцова приехала».

Аркадий оглянулся и увидал женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.

— Вы с ней знакомы? — спросил Аркадий Ситникова.

— Коротко. Хотите, я вас представлю?

— Пожалуй… после этой кадрили.

Базаров также обратил внимание на Одинцову.

— Это что за фигура? — проговорил он. — На остальных баб не похожа.

Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?

— Точно так.

— Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем, — продолжала она, — я очень рада с вами познакомиться.

В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадриль. Она согласилась.

— Вы разве танцуете? — почтительно спросил Аркадий.

— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?

— Помилуйте, как можно… Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.

Одинцова снисходительно усмехнулась.

— Извольте, — сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев.



Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею: он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она так же непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.

Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда при первых звуках мазурки он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в

разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастием находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое…

— С кем вы это стояли? — спросила она его, — когда господин Ситников подвел вас ко мне?

— А вы его заметили? — спросил в свою очередь Аркадий. — Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.

Аркадий принялся говорить о «своем приятеле». Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным… но молодые сердца не тяготятся этим чувством.

Музыка умолкла.

— Merci, — промолвила Одинцова, вставая. — Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.

Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!) и, подумав: «В это мгновенье она уже забыла о моем существовании», — почувствовал на душе какое-то изящное смирение…

— Ну что? — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к

нему в уголок, — получил удовольствие? Мне сейчас сказывал один барин, что эта госпожа — ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно — ой-ой-ой?

— Я этого определенья не совсем понимаю, — отвечал Аркадий.

— Вот еще! Какой невинный!

— В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила — бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что…

— В тихом омуте… ты знаешь! — подхватил Базаров. — Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?

— Может быть, — пробормотал Аркадий, — я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.

— Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была — просто ли губернская львица или «эманципе» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.

Аркадия покоробило от цинизма Базарова, но — как это часто случается — он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось…

— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах! — проговорил он вполголоса.

— Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды.

Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически-злобно, но не без робости, засмеялась им вослед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратил на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.

XV

— Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа, — говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. — Чувствует мой нос, что тут что-то неладно.

— Я тебе удивляюсь! — воскликнул Аркадий. — Как? Ты, ты, Базаров, придерживаешься той узкой морали, которую…

— Экой ты чудак! — небрежно перебил Базаров. — Разве ты не

знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «неладно» значит «ладно»? Пожива есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика — дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толкам не верю; но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы.

Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова оставалась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз! бабы испугался!» — подумал он и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз.

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне — двадцати и Катерине — двенадцати лет. Мать их, из обедневшего рода князей Х……, скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому, — к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х……ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с

мыслию увянуть в глуши… Но судьба сулила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудак, ипохондрик,[85] пухлый, тяжелый и кислый, впрочем не глупый и не злой; влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой, — а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города ***. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большею частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия… «Вы понимаете чего?» — договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду», — говорили о ней; а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась

правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним как с младшим братом: казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости — и только. Часа три с лишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая.

Приятели наконец поднялись и стали прощаться.

Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительною, но хорошею улыбкой проговорила:

— Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское.

— Помилуйте, Анна Сергеевна, — воскликнул Аркадий, — я за особенное счастье почту…

— А вы, мсьё Базаров?

Базаров только поклонился — и Аркадию в последний раз пришлось удивиться: он заметил, что приятель его покраснел.

— Ну? — говорил он ему на улице, — ты все того же мнения, что она — ой-ой-ой?

— А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила! — возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: — Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.

— Наши герцогини так по-русски не говорят, — заметил Аркадий.

— В переделе была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.

— А все-таки она прелесть, — промолвил Аркадий.

— Этакое богатое тело! — продолжал Базаров. — Хоть сейчас в анатомический театр.

— Перестань, ради бога, Евгений! это ни на что не похоже.

— Ну, не сердись, неженка. Сказано — первый сорт. Надо будет поехать к ней.

— Когда?

— Да хоть послезавтра. Что нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника твоего, либерального сановника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда недалеко. Ведь это Никольское по *** дороге?

— Да.

— Optime.[86] Нечего мешкать; мешкают одни дураки — да умники. Я тебе говорю: богатое тело!

Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День

стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему.

— Поздравь меня, — воскликнул вдруг Базаров, — сегодня 22 июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, — прибавил он, понизив голос… — Ну, подождут, что за важность!

XVI

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью al fresco[87] над главным входом, представлявшею «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженых елок вела к подъезду.

Приятелей наших встретили в передней два рослые лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видимо, царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

— Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса, — доложил дворецкий. — Не будет ли от вас покамест каких приказаний?

— Никаких приказаний не будет, почтеннейший, — ответил Базаров, — разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

— Слушаю-с, — промолвил дворецкий не без недоуменья и удалился, скрипя сапогами.

— Какой гранжанр![88] — заметил Базаров, — кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

— Хороша герцогиня, — возразил Аркадий, — с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

— Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук… Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?.. Как Сперанский,[89] — прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы. — А все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не фраки ли нам надеть?

Аркадий только плечом пожал… но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины — и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. «Должно быть, *сам,* — шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил: — Аль удрать?» Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

— Благодарствуйте, что сдержали слово, — начала она, — погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсьё Базаров, это все равно; но вы, мсьё Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и все наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич[90] с особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. «Какой я смирненький стал», — думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

— Вот вам и моя Катя, — проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.



Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

— Это ты все сама нарвала? — спросила Одинцова.

— Сама, — отвечала Катя.

— А тетушка придет к чаю?

— Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи… Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

— Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильич, — начала она. — Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и

давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

— О чем прикажете-с? — промолвил он.

— О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

— Вы?

— Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

— Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный, а для спора нужно увлечение.

— Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

— Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить, — извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного смысла, — да, во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

— Извините; как геолог, вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку.

— Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.

Анна Сергеевна помолчала.

— И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? — промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову. — Как же вы это без него обходитесь?

— А на что он нужен, позвольте спросить?

— Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

— Во-первых, на это существует жизненный опыт; а во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая не спеша подбирала цветок к цветку, с недоумением

подняла глаза на Базарова — и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

— Деревья в лесу, — повторила она. — Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

— Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не верь, это мне все едино!» Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам.

— И вы полагаете, — промолвила Анна Сергеевна, — что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

— По крайней мере, при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

— Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

— Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию:

— А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

— Я согласен с Евгением, — отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

— Вы меня удивляете, господа, — промолвила Одинцова, — но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х……я, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги: старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтою шалью, покрывавшею почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

— Как вы почивали, тетушка? — спросила Одинцова, возвысив голос.

— Опять эта собака здесь, — проворчала в ответ старуха и,

заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула: — Брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти…

— Я думаю, чай готов? — промолвила Одинцова. — Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе меду в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

— А что пишет *кнесь*[91] Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «*Для-ради* важности держат, потому что княжеское отродье», — подумал Базаров… После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его — не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря.

— Берегитесь, — заметила Анна Сергеевна, — мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя, — прибавила она, — сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати послушаем.



Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

— Что же вам сыграть?

— Что хотите, — равнодушно ответил Аркадий.

— Вы какую музыку больше любите? — повторила Катя, не переменяя положения.

— Классическую, — тем же голосом ответил Аркадий.

— Моцарта любите?

— Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби… Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна».

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: «Довольно?» Аркадии объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте; спросил ее — сама ли она выбрала эту сонату или кто ей ее отрекомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она *спряталась*, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она нескоро выходила наружу; самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу[92] с благосклонною улыбкой гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился.[93] Анна Сергеевна играла мастерски в карты, Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

— Пойдемте гулять завтра поутру, — сказала она ему, — я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

— На что вам латинские названия? — спросил Базаров.

— Во всем нужен порядок, — отвечала она.

— Что за чудесная женщина Анна Сергеевна, — воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

— Да, — отвечал Базаров, — баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

— В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильич?

— В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается. Но чудо — не она, а ее сестра.

— Как? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та — тертый калач.

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился — отсутствием кокетства и самою резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не уступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть… Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно-стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле… Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей и нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

«Странный человек этот лекарь!» — думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках, под легким шелковым одеялом… Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его

наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

«Странный этот лекарь!» — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась наконец, когда он увидал ее — сердце в нем мгновенно сжалось… Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели, и глаза светились ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы: «Здравствуй!» — Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

«Здравствуй, — подумал Аркадий… — Разве мы не виделись сегодня?»

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главною ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не

нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься», — уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения, вы правы, и, может быть, в этом случае я — барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет», — и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал; но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме «катилось как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. «Меня *она* не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает», — думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой — с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя

обожала природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего… он как будто избегал, как будто стыдился его…

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиной всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом[94] Тоггенбурга[95] со всеми миннезингерами и трубадурами.[96] «Нравится тебе женщина, — говаривал он, — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — все, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или запирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуй, что эти умные глаза с нежностию

— да, с нежностию остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что, может быть… Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его; но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню к отцу… Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой, Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке[97] из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ременным обрывочком и в дегтярных сапогах.

— А, старина, здравствуй! — воскликнул Базаров.

— Здравствуйте, батюшка Евгений Васильич, — начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами.

— Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

— Помилуйте, батюшка, как можно! — залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде). — В город по господским делам ехали да про вашу милость услыхали, так вот и завернули по пути, то есть — посмотреть на вашу милость… а то как же можно беспокоить!

— Ну, не ври, — перебил его Базаров. — В город тебе разве здесь дорога?



Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

— Отец здоров?

— Слава богу-с.

— И мать?

— И Арина Власьевна, слава тебе господи.

— Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

— Ах, Евгений Васильич, как не ждать-то-с! Верите ли богу, сердце изныло, на родителей на ваших глядючи.

— Ну хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

— Слушаю-с, — со вздохом отвечал Тимофеич. Выйдя из дома, он

обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.

— Как же это вы ехать собираетесь, — начала она, — а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

— Какое-с?

— Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

— Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть «*Pelouse et Frémy, Notions générales de Chimie*»;[98] книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.

— А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить… я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать… помните?

— Что делать-с! — повторил Базаров.

— Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

— А зачем оставаться? — отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

— Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

— Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

— Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. — Базаров продолжал сидеть неподвижно. — Евгений Васильич, что же вы молчите?

— Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

— Это почему?

— Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильич.

— Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

— Думайте, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

— Аркадий останется, — заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

— Мне будет скучно, — повторила она.

— В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

— Отчего вы так полагаете?

— Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске… никаким тяжелым чувствам.

— И вы находите, что я непогрешительна… то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

— Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

— Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно… мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось… Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

— Спустите штору и сядьте, — промолвила Одинцова, — мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

— Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

— Вы очень скромны… Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров.

— Все это нисколько не занимательно, — произнес он вслух, — особенно для вас; мы люди темные…

— А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

— Да, — промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь… но вы мне прежде расскажете свою.

— Я вас знаю мало, — повторил Базаров. — Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек — загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь — и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?

— Как? Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова. — С моей… красотой?

Базаров нахмурился.

— Это все равно, — пробормотал он, — я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне?

— Вы этого не понимаете… Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

— Да… я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

— Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

— Любопытством — пожалуй; но не иначе.

— В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

— Мы сошлись… — глухо промолвил Базаров.

— Да!.. ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединённой комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся штору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу… Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной…

— Куда вы? — медленно проговорила она. Он ничего не отвечал и опустился на стул.

— Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом, — продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. — А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-

нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

— Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого… что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

— Чего я хочу, — повторила Одинцова и вздохнула. — Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара, — прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. — Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует… Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной — длинная, длинная дорога, а цели нет… Мне и не хочется идти.

— Вы так разочарованы? — спросил Базаров.

— Нет, — промолвила с расстановкой Одинцова, — но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь…

— Вам хочется полюбить, — перебил Базаров, — а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

— Разве я не могу полюбить? — промолвила она.

— Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

— Случается что?

— Полюбить.

— А вы почем это знаете?

— Понаслышке, — сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь, — подумал он, — ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне…» Сердце у него действительно так и рвалось.

— Притом, вы, может быть, слишком требовательны, — промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою

кресла.

— Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

— Что ж? — заметил Базаров, — это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор… не нашли, чего желали.

— А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

— Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

— Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

— Вы говорите так, — начала она, — как будто все это испытали.

— К слову пришлось, Анна Сергеевна: это все, вы знаете, не по моей части.

— Но вы бы сумели отдаться?

— Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

— Что это Катя так поздно играет, — заметила Одинцова.

Базаров поднялся.

— Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

— Погодите, куда же вы спешите… мне нужно сказать вам одно слово.

— Какое?

— Погодите, — шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова… Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она

оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

— Ты еще не ложился? — проговорил он как бы с досадой.

— Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, — промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

— Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

— Я не играл… — начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его главам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее… Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний нумер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

— Евгений Васильевич, — проговорила Анна Сергеевна, — пойдемте ко мне… Я хочу у вас спросить… Вы назвали вчера одно руководство…

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» — и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

— Так как же называется эта книга? — начала она после небольшого молчания.

— Pelouse et Frémy, «Notions générales», — отвечал Базаров. — Впрочем, можно вам также порекомендовать Ganot, «Traité élémentaire de physique expérimentalé».[99] В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник…

Одинцова протянула руку.

— Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно… Вам не будет скучно?

— Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем, бишь, беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

— Мы говорили с вами, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастие». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастие, чем действительным счастием, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Иль вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет», — возразил Базаров, — притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

— Может быть, они кажутся вам смешными?

— Нет, но они мне не приходят в голову.

— В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем *вы* думаете?

— Как? я вас не понимаю.

— Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, — вам это самим известно, — что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды — вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? я хочу сказать — какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? словом, кто вы, что вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я…

— Да, кто вы?

— Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь.

Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

— Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

— Да чем же Аркадий…

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы — с вашим самолюбием — уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

— Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините… я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние…

— Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала…

— Да и кроме того, — перебил Базаров, — что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать — прекрасно, а не выйдет, — по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

— Вы называете дружескую беседу болтовней… Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

— Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

— Нет, я ничего не знаю… но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит…

— Происходит! — повторил Базаров, — точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем «происходит»?

— А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе.

— *Вы* можете? — спросил Базаров.

— Могу, — отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

— Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

— Как хотите, — продолжала она, — а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

— А вы заметили во мне сдержанность… как вы еще выразились… напряженность?

— Да.

Базаров встал и подошел к окну.

— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

— Да, — повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

— И вы не рассердитесь?

— Нет.

— Нет? — Базаров стоял к ней спиною. — Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно… Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей… Одинцовой стало и страшно и жалко его.

— Евгений Васильич, — проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор — и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней…



— Вы меня не поняли, — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула… Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня

уехать — или могу остаться до завтра?» — «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли», — ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь… «Я виновата, — промолвила она вслух, — но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней…

«Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями… Она увидела себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась…

«Нет, — решила она наконец, — бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидала за ней даже не бездну, а пустоту… или безобразие.

XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь, для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет… нет… нет…» После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

— Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

— Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич, — отвечала Одинцова, — но я огорчена.

— Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет…

— Евгений Васильич, зачем вы…

— Зачем я уезжаю?

— Нет, я не то хотела сказать.

— Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна… а рано или поздно это должно было случиться, следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться; но этому условию не бывать никогда, ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновенье из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека», — мелькнуло у ней в голове.

— Прощайте-с, — проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее

побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним…

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какою перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственною ему назойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой… На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее — и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного.

— Я могу тебе теперь повторить, — говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся, — то, что ты мне сказал однажды: «Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.

— Я завтра к батьке уезжаю, — проговорил Базаров. Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

— А! — промолвил он. — И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

— Много будешь знать, состареешься.

— А как же Анна Сергеевна? — продолжал Аркадий.

— Что такое Анна Сергеевна?

— Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

— Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

— Евгений! — воскликнул вдруг Аркадий.

— Ну?

— Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

— Только я домой поеду, — продолжал Аркадий. — Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

— Я у вас свои вещи оставил, — отозвался Базаров, не оборачиваясь.

«Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? — подумал Аркадий. — В самом деле, зачем я еду и зачем он едет?» — продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этою жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло, — рассуждал он сам с собою, — зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

«Жаль и Кати!» — шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза… Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

«Эге-ге!.. — подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. — Мы, стало быть, с тобою боги? то есть — ты бог, а олух уж не я ли?»

— Да, — повторил угрюмо Базаров, — ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже

перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонный заяц на опушке леса, — и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

— У меня очень покойная коляска, — прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию, — я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

— Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

— Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

— По откупам? — спросил Аркадий уже слишком презрительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

— Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная, — пробормотал он, — и всем место будет.

— Не огорчайте мсьё Ситникова отказом, — промолвила Анна Сергеевна…

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову. Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала:

— Мы еще увидимся, не правда ли?

— Как прикажете, — ответил Базаров.

— В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

— Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

— Садись, — произнес сквозь зубы Базаров. Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова — и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покатил и

скоро исчез из вида… Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!» — потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день у Кукшиной сильно досталось двум «противным гордецам и невежам».

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

— Что, брат, — проговорил он наконец, — дай-ка сигарку… Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

— Желтый, — отвечал Аркадий.

— Ну да… вот и сигарка не вкусна. Расклеилась машина.

— Ты действительно изменился в это последнее время, — заметил Аркадий.

— Ничего! поправимся. Одно скучно — мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз в день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить, — прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

— До твоего имения двадцать пять верст? — спросил Аркадий.

— Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца. Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что «хтошь е знает — версты тутотка не меряные», и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой.

— Да, да, — заговорил Базаров, — урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

— Ты на что намекаешь? — спросил Аркадий.

— Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль — тот непременно ее победит.

— Я тебя не совсем понимаю, — промолвил Аркадий, — кажется, тебе не на что было пожаловаться.

— А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему — лучше камни бить на мостовой, чем

позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все… — Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал: — вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество — все равно что в жаркий день холодною водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты, — прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику, ты, — умница, есть у тебя жена?

Мужик показал приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

— Жена-то? Есть. Как не быть жене?

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задергал вожжами.

— Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы все шутить… — Он, видимо, обиделся.

— Слышишь, Аркадий Николаич! А нас с вами прибили… вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья, — говорил один другому, — а хуже малого поросенка». — «А твоя жена — колдунья», — возражал другой.

— По непринужденности обращения, — заметил Аркадию Базаров, — и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он — узнаю его фигуру. Эге-ге! как он, однако, поседел, бедняга!

XX

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.

Лошади остановились.

— Наконец пожаловал, — проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами. — Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына… «Енюша, Енюша», — раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипыванья.

Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.

— Ну, полно, полно, Ариша! перестань, — заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся. — Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.

— Ах, Василий Иваныч, — пролепетала старушка, — в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшень-ку… — И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

— Ну да, конечно, это все в натуре вещей, — промолвил Василий Иваныч, — только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините, — прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой, — вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери…

А у самого губы и брови дергало и подбородок трясся… но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.

— Пойдемте, матушка, в самом деле, — промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.



— Душевно рад знакомству, — проговорил Василий Иванович, — только уж вы не взыщите: у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.

— Батюшка, — сквозь слезы проговорила старушка, — имени и отчества не имею чести знать…

— Аркадий Николаич, — с важностию, вполголоса, подсказал Василий Иваныч.

— Извините меня, глупую. — Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого. — Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го… о… о…лубчика.

— А вот и дождались, сударыня, — подхватил Василий Иванович. — Танюшка, — обратился он к босоногой девочке лет

тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери, — принеси барыне стакан воды — на подносе, слышишь?.. а вас, господа, — прибавил он с какою-то старомодною игривостью, — позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

— Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка, — простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней. — Да какой же ты красавчик стал!

— Ну, красавчик не красавчик, — заметил Василий Иванович, — а мужчина, как говорится: *оммфе*.[100] А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

Старушка привстала с кресел.

— Сию минуту, Василий Иваныч, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

— Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос? Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда,[101] вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.

— Я вас предупредил, любезный мой посетитель, — начал Василий Иваныч, — что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках…

— Да перестань, что ты извиняешься? — перебил Базаров. — Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы[102] и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос.

— Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комнатка: им там очень хорошо будет.

— Так у тебя и флигелек завелся?

— Как же-с; где баня-с, — вмешался Тимофеич.

— То есть рядом с баней, — поспешно присовокупил Василий Иванович. — Теперь же лето… Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Suum cuique.[103]

— Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший, — прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. — Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.

— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, — заметил Аркадий.

— Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.

— Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли, — промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.

— И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.

— Сколько у твоего отца душ? — спросил вдруг Аркадий.

— Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.

— И все двадцать две, — с неудовольствием заметил Тимофеич.

Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василии Иванович.

— Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, — воскликнул он с торжественностию, — Аркадий… Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга, — прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах. — Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?

— Я курю больше сигары, — ответил Аркадий.

— И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс[104] сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.

— Да полно тебе Лазаря петь,[105] — перебил опять Базаров. — Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностию.

— Лазаря петь! — повторил Василий Иванович. — Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

— Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу.[106] Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.

— Да; вот я вижу у тебя — «*Друг здравия*»[107] на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год, — заметил Базаров.

— Мне его по знакомству старый товарищ высылает, — поспешно проговорил Василий Иванович, — но мы, например, и о френологии[108] имеем понятие, — прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четыреугольники, — нам и Шенлейн[109] не остался безызвестен, и Радемахер.

— А в Радемахера еще верят в *** губернии? — спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

— В губернии… Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист[110] Гоффман,[111] какой-нибудь Броун[112] с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

— Скажу тебе в утешение, — промолвил Базаров, — что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

— Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

— Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

— Ну, может быть, может быть — спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, *волату*;[113] теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил, — обратился он опять к Аркадию, — да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я,

которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна[114] и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет.[115] Ну да ведь мое дело — сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

— Сознайся, дубина была порядочная, — лениво промолвил Базаров.

— Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй… Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу…

— Ну, брось его, — перебил Базаров. — Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.

Василий Иванович оживился.

— А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельский святую правду изрек: in herbis, verbis et lapidibus…[116] Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом — нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии… Ха-ха, из филантропии! а? каково! ха-ха! ха-ха!

— Федька! Набей мне трубку! — сурово проговорил Базаров.

— А то здесь другой доктор приезжает к больному, — продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович, — а больной уже ad patres;[117] человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» — «Икали-с». — «И много икал?» — «Много». — «А, ну — это хорошо», — да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа; Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся.

— Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже

обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленою веткой; но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещивать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса.[118] Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну как скажет на два дня», — думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полбутылкой шампанского. «Вот, — воскликнул он, — хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных посетителей» и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

— На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.[119]

— Что за деревья? — спросил, вслушавшись, Базаров.

— А как же… акации.

Базаров начал зевать.

— Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею,[120] — заметил Василий Иванович.

— То есть пора спать! — подхватил Базаров. — Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в наши счастливые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи;[121] а об

устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать — и строго постилась; спала десять часов в сутки — и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова; не прочла ни одной книги, кроме «Алексиса, или Хижины в лесу»,[122] писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, — а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу — и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном… Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно — и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:

— Здравия желаем! Как почивать изволили?

— Прекрасно, — отвечал Аркадий.

— А я здесь, как видите, как некий Цинциннат,[123] грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, — да и слава богу! — что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо[124] прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку — это по-ихнему, а по-нашему —

дизентерию, я… как бы выразиться лучше… я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию… только она не согласилась. Все это я делаю gratis[125] — *анаматёр*.[126] Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, homo novus[127] — не из столбовых, не то, что моя благоверная… А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

— Добро пожаловать еще раз! — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. — Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

— Помилуйте, — возопил Аркадий, — какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

— Позвольте, позвольте, — возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. — Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете — узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара — давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать, — вы давно с моим Евгением знакомы?



— С нынешней зимы.

— Так-с. И позвольте вас еще спросить, — но не присесть ли нам? — позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

— Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался, — с живостью ответил Аркадий.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

— Итак, вы полагаете, — начал он…

— Я уверен, — подхватил Аркадий, — что сына вашего ждет

великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

— Как… как это было? — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

— Вы хотите знать, как мы встретились?

— Да… и вообще…

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы — и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

— Вы меня совершенно осчастливили, — промолвил он, не переставая улыбаться, — я должен вам сказать, что я… боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно — мать! Но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

— Он бескорыстный, честный человек, — заметил Аркадий.

— Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания…» — Голос старика перервался.

Аркадий стиснул ему руку.

— Как вы думаете, — спросил Василий Иванович после некоторого молчания, — ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

— Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

— На каком же, Аркадий Николаич?

— Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

— Он будет знаменит! — повторил старик и погрузился в думу.

— Арина Власьевна приказали просить чай кушать, — проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой

малины.

Василий Иванович встрепенулся.

— А холодные сливки к малине будут?

— Будут-с.

— Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

— Я здесь, — раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

— Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал amice, [128] и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

— О чем?

— Здесь есть мужичок, он страдает иктером…

— То есть желтухой?

— Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это все *паллиативные* средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»:

Закон, закон, закон себе поставим
На ра… на ра… на радости пожить!

— Замечательная живучесть! — проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

— Та осина, — заговорил Базаров, — напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.

— Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий.

— Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь;

больше все по городам шлялись.

— А дом этот давно стоит?

— Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

— Кто он был, твой дед?

— Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

— То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

— Лампадным маслом отзывает да донником, — произнес, зевая, Базаров. — А что мух в этих милых домиках… Фа!

— Скажи, — начал Аркадий после небольшого молчания, — тебя в детстве не притесняли?

— Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

— Ты их любишь, Евгений?

— Люблю, Аркадий!

— Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

— Знаешь ли ты, о чем я думаю? — промолвил он наконец, закидывая руки за голову.

— Не знаю. О чем?

— Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами — кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я…

— А ты?

— А я думаю: я вот лежу здесь под стогом… Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже… Что за безобразие! Что за пустяки!

— Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям…

— Ты прав, — подхватил Базаров. — Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит… а я… я чувствую только скуку да злость.

— Злость? почему же злость?

— Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

— Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но…

— Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. — Он повернулся на бок. — Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!

— Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову.

— Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.

— Да, — начал Базаров, — странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

— Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, — произнес задумчиво Аркадий.

— Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно… а вот дрязги, дрязги… это беда.

— Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.

— Гм… это ты сказал *противоположное общее место.*

— Что? Что ты называешь этим именем?

— А вот что; сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.

— Да правда-то где, на какой стороне?

— Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?

— Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.

— В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и

малины нельзя так много есть.

— В таком случае не худо вздремнуть, — заметил Аркадий.

— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.

— А тебе не все равно, что о тебе думают?

— Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.

— Странно! я никого не ненавижу, — промолвил, подумавши, Аркадий.



— А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься…

— А ты, — перебил Аркадий, — на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?

Базаров помолчал.

— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать… А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

— Полно, Евгений… послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Все от них зависит.

— Как так?

— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? и честность — ощущение?

— Еще бы!

— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.

— А? что? не по вкусу? — перебил его Базаров. — Нет, брат! Решился все косить — валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал, — промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой![129] за честь России!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета, наконец.

— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

— Давай лучше спать! — с досадой проговорил Аркадий.

— С величайшим удовольствием, — ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

— Посмотри, — сказал вдруг Аркадий, — сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым.

— О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров, — об одном прошу тебя: не говори красиво.

— Я говорю, как умею… Да и наконец, это деспотизм. Мне не шла мысль в голову; отчего ее не высказать?

— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.

— Что же прилично? Ругаться?

— Э-э! да ты, я вижу, точно, намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

— Как ты назвал Павла Петровича?

— Я его назвал, как следует, — идиотом.

— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.

— Ага! родственное чувство заговорило, — спокойно промолвил Базаров. — Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, — это свыше его сил. Да и в самом деле: *мой* брат, *мой* — и не гений… возможно ли это?

— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, — возразил запальчиво Аркадий. — Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого *ощущения*, то ты и не можешь судить о нем.

— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, — преклоняюсь и умолкаю.

— Полно, пожалуйста, Евгений; мы, наконец, поссоримся.

— Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения риз, до истребления.

— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем…

— Что подеремся? — подхватил Базаров. — Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло…

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы… Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться… Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость…

— А! вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенною, тоже домоделанною, шляпой на голове. — Я вас искал, искал… Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»… Знаете ли — в этом есть какое-то особенное значение!

— Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть, — проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: — Жаль, что помешал.

— Ну, полно, — шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. — Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

— Смотрю я на вас, мои юные собеседники, — говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника, — смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости, самой цветущей, способностей, талантов! Просто… Кастор и Поллукс![130]

— Вон куда — в мифологию метнул! — промолвил Базаров. — Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

— Диоскуры, Диоскуры! — повторил Василий Иванович.

— Однако полно, отец, не нежничай.

— В кои-то веки разик можно, — пробормотал старик. — Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но

с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений… Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь… Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей…

— Поп?

— Ну да, священник; он у нас… кушать будет… Я этого не ожидал и даже не советовал… но как-то так вышло… он меня не понял… Ну, и Арина Власьевна… Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.

— Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

— Помилуй, что ты!

— А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

— Я был наперед уверен, — промолвил он, — что ты выше всяких предрассудков. На что вот я — старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна… Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь… Он и в карточки не прочь поиграть и даже… но это между нами… трубочку курит.

— Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.

— Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

— А что? Разве стариной тряхнешь? — промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

— Как тебе не стыдно, Евгений… Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед *ними* признаться, имел я эту страсть в молодости — точно; да и поплатился же я за нее! Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

— Нисколько, — ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустился на сено.

— Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои, — начал он, — мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава богу. — Он вздохнул. — Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

— За который ты получил Владимира?[131] — подхватил Базаров. — Знаем, знаем… Кстати, отчего ты его не носишь?

— Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков, — пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы. — А ведь он заснул, — шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув. — Евгений! вставай! — прибавил он громко: — Пойдем обедать…

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал, и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро… Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого не охотники», — твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую

ладонь.

— Что, — спросила она, погодя немного, — не помогло?

— Еще хуже пошло, — отвечал он с небрежною усмешкой.

— Очинно они уже рискуют, — как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.

— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское, — подхватил Василий Иванович и пошел с туза.

— Оно же и довело его до острова Святыя Елены, — промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.

— Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.

Базаров только плечами пожал.

— Нет! — говорил он на следующий день Аркадию, — уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам — никто тебе мешать не будет»; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, — промолвил Аркадий, — да и он тоже.

— Я к ним еще вернусь.

— Когда?

— Да вот как в Петербург поеду.

— Мне твою мать особенно жалко.

— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

— Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.

— Верно, обо мне все распространялась?

— Не о тебе одном была речь.

— Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.

— Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.

— Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца: он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика — и очень хорошо сделал; да, да, не гляди на меня с таким ужасом — очень хорошо

сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить… Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: «Ничего!» — но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

— Да… чуть было не забыл тебе сказать… Вели-ка завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

— Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

— Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

— Ты уезжаешь?

— Да… мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.

— Хорошо… — залепетал старик, — на подставу… хорошо… только… только… Как же это?

— Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.

— Да! На короткое время… Хорошо. — Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. — Что ж? это… все будет. Я было думал, что ты у нас… подольше. Три дня… Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!

— Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.

— Необходимо… Что ж? Прежде всего надо долг исполнять… Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное — свобода; это мое правило… не надо стеснять… не…

Он вдруг умолк и направился к двери.

— Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

— Это ты, Василий Иваныч? — спросила она.

— Я, матушка!

— Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

— Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных, — продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, — и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме, — Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас, — залепетал он, — бросил; скучно ему стало с нами. Один, как перст теперь, один!» — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын — отрезанный ломоть. Он, что сокол: захотел — прилетел, захотел — улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

XXII

Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

— Евгений, — спросил он, — налево?

Базаров отвернулся.

— Это что за глупость? — пробормотал он.

— Я знаю, что глупость, — ответил Аркадий. — Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

— Как знаешь, — проговорил он наконец.

— Пошел налево! — крикнул Аркадий.

Тарантас покатил в направлении к Никольскому. Но, решившись на *глупость,* приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с довольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенною своей любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше, в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездоровилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он, по крайней мере, столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

— На меня теперь нашла хандра, — сказала она, — но вы не

обращайте на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и все глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде «молодых господ»; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры,[132] ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.



А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем — хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток; лошади заболевали; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую с первого разу испортили; половина скотного двора сгорела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкой окуривать свою корову… правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не взносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы». Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело

обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, все сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьбой не совладели, а тут Опекунский совет[133] грозится и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов…

— Сил моих нет! — не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович. — Самому драться невозможно, посылать за становым — не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь!

— Du calme, du calme,[134] — замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностию если не помогать отцу, то, по крайней мере, показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет, не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, и еще под каким! — под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми

Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю, — беспрестанно шептал он, — сама прибавила. Поеду, поеду, черт возьми!» Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. «Авось» молодости, тайное желание изведать свое счастие, испытать свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было покровительства — одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город, а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер на сраженье: и страшно ему было, и весело, нетерпение его душило. «Главное — не надо думать», — твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «Чкнуть?» или: «Аль чкнуть?» — но зато *чкнувши,* не жалел лошадей. Вот наконец показалась высокая крыша знакомого дома… «Что я делаю? — мелькнуло вдруг в голове Аркадия. — Да ведь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженых елок… Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика… Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить расскакавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. «Это вы! — промолвила она и понемножку вся покраснела, — пойдемте к сестре, она тут, в саду; ей будет приятно вас видеть».

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Все так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» — проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра: «Где ты его нашла, Катя?»

— Я вам, Анна Сергеевна, — начал он, — привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете…

— Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с *нигилистом* по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян,[135] но сам вдруг остановился, промолвив с холодною вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.

— Еще бы! — воскликнул Базаров. — Человек все в состоянии понять — и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок. Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» — отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно

расчесанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?» Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо… А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал… Это существо была Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не захаживал, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить его — купать ли ей Митю или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный, и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем *сьюте, с* неподвижным зорким лицом и руками в карманах. «Так тебя холодом и обдаст», — жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом «бесчувственном» человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался *жестоким тираном* ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили на колени. Она едва ходила и все охала да жаловалась с забавным бессилием.

— Ты бы чаще купалась, — говорил ей Николай Петрович.

Он устроил большую, полотном покрытую купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

— Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь — умрешь, и назад пойдешь — умрешь. Ведь тени-то в саду нету.

— Это точно, что тени нету, — отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув по обыкновению белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

— А! Евгений Васильич! — проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

— Что вы это тут делаете? — промолвил Базаров, садясь возле нее. — Букет вяжете?

— Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.

— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

— Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

— Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать. — Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившуюся жилку и даже не стал считать ее ударов. — Сто лет проживете, — промолвил он, выпуская ее руку.

— Ах, сохрани бог! — воскликнула она.

— А что? Разве вам не хочется долго пожить?

— Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет — так уж что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

— Так лучше быть молодою?

— А то как же?

— Да чем же оно лучше? Скажите мне!

— Как чем? Да вот я теперь, молодая, все могу сделать — и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно… Чего лучше?

— А вот мне все равно: молод ли я или стар.

— Как это вы говорите — все равно? это невозможно, что вы говорите.

— Да вы сами посудите, Федосья Николавна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем…

— Это от вас всегда зависит.

— То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

— Это что у вас за книга? — спросила она, погодя немного.

— Это-то? Это ученая книга, мудреная.

— А вы все учитесь? И не скучно вам? Вы уж и так, я чай, все знаете.

— Видно, не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

— Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? — спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том. — Какая толстая!

— Русская.

— Все равно я ничего не пойму.

— Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается.



Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозоте»,[136] засмеялась и бросила книгу… она скользнула со скамейки на землю.

— Я люблю тоже, когда вы смеетесь, — промолвил Базаров.

— Полноте!

— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отворотила голову.

— Какой вы! — промолвила она, перебирая пальцами по цветам. — И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

— Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

— Ну, вот еще что выдумали! — шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

— Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

— Лекарская? — повторила Фенечка и повернулась к нему. — А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить; такой вы добрый, право.

— А по-настоящему надо лекарям платить, — заметил с усмешкой Базаров. — Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не знала — шутит ли он или нет.

— Если вам угодно, мы с удовольствием… Надо будет у Николая Петровича спросить…

— Да вы думаете, я денег хочу? — перебил ее Базаров. — Нет, мне от вас не деньги нужны.

— Что же? — проговорила Фенечка.

— Что? — повторил Базаров. — Угадайте.

— Что я за отгадчица!

— Так я вам скажу; мне нужно… одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенною. Базаров пристально смотрел на нее.

— Извольте, извольте, — промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы. — Какую вам, красную или белую?

— Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

— Вот возьмите, — сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

— Что такое? — спросил Базаров. — Николай Петрович?

— Нет… Они в поле уехали… да я и не боюсь их… а вот Павел Петрович… Мне показалось…

— Что?

— Мне показалось, что *они* тут ходят. Нет… никого нет. Возьмите. — Фенечка отдала Базарову розу.

— С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

— Они меня все пугают. Говорить — не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы все с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет, а вижу, что вы его и так вертите, и так…

Фенечка показала руками, как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

— А если б он меня побеждать стал, — спросил он, — вы бы за меня заступились?

— Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь.

— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

— Какая такая рука?

— А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали.

Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку… Платок скатился с ее головы на плеча; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

— Постойте, я хочу понюхать с вами, — промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какой-то злобною унылостью: «Вы здесь», — удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки.

— Грешно вам, Евгений Васильич, — шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя «с формальным поступлением в селадоны» и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из саду и, медленно шагая, добрался до

леса. Он остался там довольно долго, и когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи, — спокойно отвечал ему Павел Петрович.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

— Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, — начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости), — но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени… не более.

— Все мое время к вашим услугам, — ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

— С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

— Вопрос? О чем это?

— А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

— Вот мое мнение, — сказал он. — С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с практической точки зрения — это дело другое.

— То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

— Вы вполне отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности…

— Из нерешимости, хотите вы сказать.

— Это все равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я… не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

— Со мной?

— Непременно с вами.

— Да за что? помилуйте.

— Я бы мог объяснить вам причину, — начал Павел Петрович. — Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно…

Глаза Павла Петровича засверкали… Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-с, — проговорил он. — Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

— Чувствительно вам обязан, — ответил Павел Петрович, — и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

— То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? — хладнокровно заметил Базаров. — Это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом… Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

— Прекрасно, — промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол. — Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

— Нет, лучше без формальностей.

— Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего больше?

— Чего же больше? — повторил иронически Базаров.

— Что же касается до самых условий поединка, но так как у нас секундантов не будет, — ибо где ж их взять?

— Именно, где их взять?

— То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рощей, на пистолетах; барьер в десяти шагах…

— В десяти шагах? это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

— Можно и восемь, — заметил Павел Петрович.

— Можно; отчего же!

— Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в

карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

— Вот с этим я не совсем согласен, — промолвил Базаров. — Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

— Соглашаюсь. Но есть средство избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петр.

— Какой Петр?

— Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях *комильфо*.[137]

— Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в метке не утаить, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

— Вы продолжаете шутить, — произнес, вставая со стула, Павел Петрович. — Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии… Итак, все устроено… Кстати, пистолетов у вас нет?

— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

— В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

— Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость…

— Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

— До приятного свидания, милостивый государь мой, — промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу-ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда… (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня, — думал он, — но неужели ж это он за брата так вступился?

Да и что за важность, поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! — решил он наконец, — скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий… и эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру, — подумал он, — узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны… Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем, — прибавил он, — подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьина огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть… Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге… Мужик показался из-за

деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал, — подумал Базаров, — да, по крайней мере, за делом, а мы?»

— Кажись, они идут-с, — шепнул вдруг Петр. Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставил вас ждать, — промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта. — Я не хотел будить моего камердинера.

— Ничего-с, — ответил Базаров, — мы сами только что пришли.

— А! тем лучше! — Павел Петрович оглянулся кругом. — Никого не видать, никто не помешает… Мы можем приступить?

— Приступим.

— Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вам заряжать? — спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

— Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее, — прибавил Базаров с усмешкой. — Раз, два, три…

— Евгений Васильич, — с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке), — воля ваша, я отойду.

— Четыре… пять… Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть… семь… восемь… — Базаров остановился. — Довольно? — промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу, — или еще два шага накинуть?

— Как угодно, — проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

— Ну, накинем еще два шага. — Базаров провел носком сапога черту по земле. — Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

— Я полагаю, на десять, — ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета. — Соблаговолите выбрать.

— Соблаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

— Вам все желательно шутить, — ответил Павел Петрович. — Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. A bon entendeur, salut![138]

— О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить utile dulci?[139] Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

— Я буду драться серьезно, — повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

— Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

— Совершенно.

— Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета… «Он мне прямо в нос целит, — подумал Базаров, — и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов…» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновенье раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего», — успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

— Вы ранены? — промолвил он.

— Вы имели право подозвать меня к барьеру, — проговорил Павел Петрович, — а это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу.

— Ну, извините, это до другого раза, — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. — Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

— Все это вздор… Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, — промолвил с расстановкой Павел Петрович, — и… надо… опять… — Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

— Вот новость! Обморок! С чего бы! — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву. — Посмотрим, что за штука? — Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны… — Кость цела, — бормотал он сквозь зубы, — пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул, vastus externus, задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая.

— Убиты-с? — прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

— Ступай за водой поскорее, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься.

— Вы правы… Экая глупая физиономия! — проговорил с

насильственною улыбкой раненый джентльмен.

— Да ступай же за водой, черт! — крикнул Базаров.

— Не нужно… это был минутный vertige…[140] Помогите мне сесть… вот так… Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно… сегодня, сегодня — заметьте.

— О прошлом вспоминать незачем, — возразил Базаров, — а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

— Смотри, брата не испугай, — сказал ему Павел Петрович, — не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет, по крайней мере, здесь торчать, — успокаивал он себя, — и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Друзьям это сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объясниться, ни разойтись.



— Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил наконец Базаров.

— Нет, ничего, прекрасно, — отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: — Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

— Очень хорошо, — промолвил Базаров. — Вы можете сказать,

что я бранил всех англоманов.

— И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

— Кто ж его знает! — ответил Базаров, — всего вероятнее, что ничего не думает. — Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф.[141] Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

— А! вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидал бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

— Что это значит? — проговорил он взволнованным голосом. — Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

— Ничего, — отвечал Павел Петрович, — напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

— Да из-за чего все вышло, ради бога?

— Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле.[142] Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было назади…

— Я должен вас просить заняться братом, — сказал ему Николай Петрович, — пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно забинтованною ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не

позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» — но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «Couchez-vous», [143] — и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

— А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

— С какою Нелли, Паша?

— Как это ты спрашиваешь? С княгинею Р… Особенно в верхней части лица. C'est de la même famille.[144]

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло», — подумал он.

— Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову. — Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться… — лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

— Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

— Точно так-с.

— Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, который… который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат — человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый… Слава богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки…

— Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история, — заметил небрежно Базаров.

— Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич… Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое… такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий…

— Я, должно быть, с ним увижусь, — возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство, — в противном случае, прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

— И я прошу… — ответил с поклоном Николай Петрович.

Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! — сказал он про себя… — Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?», а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», плотнее завернулся в шинель.



Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, *плен* довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

Совесть почти не упрекала Фенечку; но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на

нее так странно… так, что она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды — дело было утром — Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

— Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? — начал он. — Разве у вас дело есть?

— Нет-с… да-с… Нужно там чай разливать.

— Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

— Послушайте, — промолвил Павел Петрович и подергал свои усы, — я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

— Я-с?..

— Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

— Ведь у вас совесть чиста? — спросил он ее.

— Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.

— Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

— Люблю.

— Всей душой, всем сердцем?

— Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

— Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так называл ее…). Вы знаете — большой грех лгать!

— Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить — да после этого мне и жить не надо!

— И ни на кого вы его не променяете?

— На кого ж могу я его променять?

— Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

— Господи боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что

я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

— Фенечка, — промолвил печальным голосом Павел Петрович, — ведь я видел…

— Что вы видели-с?

— Да там… в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

— А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

— Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

— Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! — проговорила с внезапною силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло, — а что вы видели, так я на Страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем…

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку… Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.

— Фенечка! — сказал он каким-то чудным шепотом, — любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что сталось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая…

«Господи! — подумала она, — уж не припадок ли с ним?..»

А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала.

Лестница заскрипела под быстрыми шагами… Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась — и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии

третьего лица.

— Что с тобой? — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. — Ты не хуже себя чувствуешь? — спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

— Нет… так… ничего… Напротив, мне гораздо лучше.

— Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке; но та уже захлопнула за собою дверь. — Я было принес показать тебе моего богатыря; он соскучился по своем дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

— Брат! — торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

— Брат, — повторил Павел Петрович, — дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

— Какую просьбу? Говори.

— Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе… Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

— Что ты хочешь сказать, Павел?

— Женись на Фенечке… Она тебя любит, она — мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

— Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

— Напрасно ж ты уважал меня в этом случае, — возразил с унылою улыбкою Павел Петрович. — Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже старые и смирные; пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

— Ты мне окончательно открыл глаза! — воскликнул он. — Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и

великодушный…

— Тише, тише, — перебил его Павел Петрович. — Не разбереди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею… belle-soeur.[145]

— Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий?

— Аркадий? Он восторжествует, помилуй? Брак не в его принсипах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты au dix-neuvième siècle?[146]

— Ах, Павел, Павел! дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

— Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? — спросил Павел Петрович.

— К чему спешить? — возразил Николай Петрович. — Разве у вас был разговор?

— Разговор, у нас? Quelle idée![147]

— Ну и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это от нас не уйдет, надо подумать хорошенько, сообразить…

— Но ведь ты решился?

— Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставлю, тебе надо отдохнуть; всякое волнение тебе вредно… Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай бог тебе здоровья!

«За что он меня так благодарит? — подумал Павел Петрович, оставшись один. — Как будто это не от него зависело! А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока околею».

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца… Да он и был мертвец.

XXV

В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием; на земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет «русачьей полежкой». И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, с свойственной им трусливою дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях

ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке и по желтой спине Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная тень обливала Аркадия и Катю; только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение: каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз: Аркадий казался спокойнее. Катя оживленнее, смелей.



— Не находите ли вы, — начал Аркадий, — что *ясень* по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит на воздухе, как он.

Катя подняла глаза кверху и промолвила: «Да», а Аркадий подумал: «Вот эта не упрекает меня за то, что я *красиво* выражаюсь».

— Я не люблю Гейне, — заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках, — ни когда он смеется, ни когда он плачет: я его люблю, когда он задумчив и грустит.

— А мне нравится, когда он смеется, — заметил Аркадий.

— Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления… («Старые следы! — подумал Аркадий. — Если б Базаров это слышал!») Погодите, мы вас переделаем.

— Кто меня переделает? Вы?

— Кто? Сестра; Порфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь.

— Не мог же я отказаться! А что касается до Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением.

— Сестра находилась тогда под его влиянием, так же, как и вы.

— Как и я! Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?

Катя промолчала.

— Я знаю, — продолжал Аркадий, — он вам никогда не нравился.

— Я не могу судить о нем.

— Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю… Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить! Это просто отговорка.

— Ну, так я вам скажу, что он… не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая… да и вы ему чужой.

— Это почему?

— Как вам сказать… Он хищный, а мы с вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадий почесал у себя за ухом.

— Послушайте, Катерина Сергеевна: ведь это, в сущности, обидно.

— Разве вы хотели бы быть хищным?

— Хищным нет, но сильным, энергическим.

— Этого нельзя хотеть… Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть.

— Гм! Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?

— Да. Но над ней никто долго взять верх не может, — прибавила Катя вполголоса.

— Почему вы это думаете?

— Она очень горда… я не то хотела сказать… она очень дорожит своею независимостью.

— Кто же ею не дорожит? — спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло: «На что она?» — «На что она?» — мелькнуло и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом:

— Сознайтесь, что вы немножко *ее* боитесь.

— Кого?

— *Ее,* — значительно повторил Аркадий.

— А вы? — в свою очередь спросила Катя.

— И я; заметьте, я сказал: *и* я.

Катя погрозила ему пальцем.

— Это меня удивляет, — начала она, — никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь; гораздо больше, чем в первый ваш приезд.

— Вот как!

— А вы этого не заметили? Вас это не радует?

Аркадий задумался.

— Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки?

— И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.

— Это почему?

— Не скажу.

— О! я знаю: вы очень упрямы.

— Упряма.

— И наблюдательны.

Катя посмотрела сбоку на Аркадия.

— Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?

— Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы; всех чуждаетесь…

— Я много жила одна; поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?

Аркадий бросил признательный взгляд на Катю.

— Все это прекрасно, — продолжал он, — но люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием, редко владеют этим даром; до них, как до царей, истине трудно дойти.

— Да ведь я не богатая.

Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле, имение-то все сестрино!» — пришло ему в голову; эта мысль ему не была неприятна.

— Как вы это хорошо сказали! — промолвил он.

— А что?

— Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие.

— Я ничего этого не испытала по милости сестры; я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось.

— Так; но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил.

— Например?

— Например, ведь вы, — извините мой вопрос, — вы бы не пошли замуж за богатого человека?

— Если б я его очень любила… Нет, кажется, и тогда бы не пошла.

— А! вот видите! — воскликнул Аркадий и, погодя немного, прибавил: — А отчего бы вы за него не пошли?

— Оттого, что и в песне про неровнюшку поется.

— Вы, может быть, хотите властвовать или…

— О нет! к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование… Нет, довольно и так.

— Довольно и так, — повторил за Катей Аркадий. — Да, да, — продолжал он, — вы недаром одной крови с Анной Сергеевной; вы так же самостоятельны, как она; но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первая не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято…

— Да как же иначе? — спросила Катя.

— Вы одинаково умны; у вас столько же, если не больше, характера, как у ней…

— Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста, — поспешно перебила Катя, — это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и… вам в особенности, Аркадий Николаич, не следовало бы говорить такие слова, и еще с таким серьезным лицом.

— Что значит это: «вам в особенности», и из чего вы заключаете, что я шучу?

— Конечно, вы шутите.

— Вы думаете? А что, если я убежден в том, что говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

— Я вас не понимаю.

— В самом деле? Ну, теперь я вижу: я точно слишком превозносил вашу наблюдательность.

— Как?

Аркадий ничего не ответил и отвернулся, а Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям; но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть.

— Катерина Сергеевна! — заговорил вдруг Аркадий, — вам это, вероятно, все равно; но знайте, что я вас не только на вашу сестру, — ни на кого в свете не променяю.

Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.

А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.

— Ты одна? — раздался возле нее голос Анны Сергеевны. — Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.

Катя не спеша перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи) и не спеша промолвила:

— Я одна.

— Я это вижу, — отвечала та со смехом, — он, стало быть, ушел к себе?

— Да.

— Вы вместе читали?

— Да.

Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо.

— Вы не поссорились, надеюсь?

— Нет, — сказала Катя и тихо отвела сестрину руку.

— Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их: я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты не довольно этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки! И руки твои хороши… только велики; так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем; Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже — только не примерять ботинки.

«Прелестные ножки, — думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы, — прелестные ножки, говорите вы… Ну, он и будет у них».

Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.

Аркадий пошел по коридору к себе в комнату; дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.

— Евгений! — пробормотал почти с испугом Аркадий, — давно ли он приехал?

— Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не

докладывать, а прямо к вам себя приказали провести.

«Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльною шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице; он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею.

— Вот неожиданно! Какими судьбами! — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется. — Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?

— Все у вас благополучно, но не все здоровы, — проговорил Базаров. — А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях.

Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился; но не почел нужным это выказать; он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди? И, получив ответ, что она — самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.

— Да, брат, — промолвил он, — вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к «отцам», — так заключил Базаров, — и на дороге завернул сюда… чтобы все это передать, сказал бы я, если б я не почитал бесполезную ложь — глупостью. Нет, я завернул сюда — черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды; это я совершил на днях… Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел.

— Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся, — возразил с волнением Аркадий, — я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со *мной.*

Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.

— Будто это так огорчит тебя? Мне сдается, что ты уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький… должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.

— Какие мои дела с Анной Сергеевной?

— Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Кстати,

как там подвизаются воскресные школы? Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?

— Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою; могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься.

— Гм! Новое слово, — заметил вполголоса Базаров. — Но тебе не для чего горячиться, мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись.

— Евгений…

— Душа моя, это не беда; то ли еще на свете приедается! А теперь, я думаю, не проститься ли нам? С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей.

— Помилуй, это невозможно!

— А почему?

— Я уже не говорю о себе; но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.

— Ну, в этом ты ошибаешься.

— А я, напротив, уверен, что я прав, — возразил Аркадий. — И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал?

— Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней: оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою.

Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение.

— Анна Сергеевна, — поторопился сказать Базаров, — прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением.

Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку, и отвечала на его пожатие.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — сказала она, — тем более

что, говоря по совести, и я согрешила тогда если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово: будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

— Кто их помнит? Да притом любовь… ведь это чувство напускное.

— В самом деле? Мне очень приятно это слышать.

Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу.

Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых. Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал.

— А я, — промолвила Анна Сергеевна, — сперва хандрила, бог знает отчего, даже за границу собиралась, вообразите!.. Потом это прошло; ваш приятель, Аркадий Николаич, приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.

— В какую это роль, позвольте узнать?

— Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен… А главное, он молод, молод… не то, что мы с вами, Евгений Васильич.

— Он все так же робеет в вашем присутствии? — спросил Базаров.

— А разве… — начала было Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила: — Теперь он доверчивее стал, говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей.

Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить!» — подумал он.

— Вы говорите, он избегал вас, — произнес он с холодною усмешкой, — но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?

— Как? и он? — сорвалось у Анны Сергеевны.

— И он, — повторил Базаров с смиренным поклоном. — Неужели вы этого не знали и я вам сказал новость?

Анна Сергеевна опустила глаза.

— Вы ошибаетесь, Евгений Васильич.

— Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом. «А ты вперед не хитри», — прибавил он про себя.

— Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению.

— Не будемте лучше говорить об этом, Анна Сергеевна.

— Отчего же? — возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала, и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, ни дать ни взять, как на твердой земле; но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности.

Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему наконец перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаич?» — спросила хозяйка и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли: он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел, погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало; напротив, лицо его тихо светлело; казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

XXVI

Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней, глухой стене этого портика, или галереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше

прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником: одни капители колонн виднелись над сплошною зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидала там ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одною из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих.

На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в «портик».

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид озабоченный. Сестра ее тотчас после чаю позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе; да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз.

— Катерина Сергеевна, — заговорил он с какою-то застенчивою развязностью, — с тех пор как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня… вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали, — прибавил он, и ловя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. — Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого, — вы, которой я, в сущности, и обязан этою переменой.

— Я?.. Мне?.. — проговорила Катя.

— Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал, — продолжал Аркадий, — недаром же мне и минул двадцать третий год; я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне… гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам… Глаза

мои недавно раскрылись благодаря одному чувству… Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете…

Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.

— Я полагаю, — заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку, — я полагаю, что обязанности всякого честного человека быть вполне откровенным с теми… с теми людьми, которые… словом, с близкими ему людьми, а потому я… я намерен.

Но тут красноречие изменило Аркадию; он сбился, замялся и принужден был немного помолчать; Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то.

— Я предвижу, что удивлю вас, — начал Аркадий, снова собравшись с силами, — тем более что это чувство относится некоторым образом… некоторым образом, заметьте, — до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности, — продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться, — этот упрек часто направляется… падает… на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать; и если бы во мне было больше самоуверенности… («Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы.) Если б я мог надеяться…

— Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите, — раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны.

Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова.

Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком.

— Вот видите ли, — продолжала Анна Сергеевна, — мы с вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба, — к чему церемониться? — умны: сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено… а потом…

— А потом я выдохся, — подхватил Базаров.

— Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное; в нас слишком много было… как бы это сказать… однородного. Мы это не

сразу поняли. Напротив, Аркадий…

— Вы в нем нуждаетесь? — спросил Базаров.

— Полноте, Евгений Васильич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть…

— Слово *обаяние* употребительнее в подобных случаях, — перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. — Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре… Это симптом важный.

— Он с Катей совсем как брат, — промолвила Анна Сергеевна, — и это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними.

— Это в вас говорит… сестра? — произнес протяжно Базаров.

— Разумеется… Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь… и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры.

— Во-первых, я вовсе не добр; а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр… Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.

— Евгений Васильич, мы не властны… — начала было Анна Сергеевна; но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова.

— Ведь вы свободны, — произнес немного погодя Базаров. Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились… все затихло.

Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.

— Катерина Сергеевна, — проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, — я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат и чувствую, что готов на все жертвы… Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни! Неужели вы давно не убедились, что все другое — поймите меня, — все, все другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово… Я люблю… я люблю вас… поверьте же мне!

Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и, после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:

— Да.

Аркадий вскочил со скамьи.

— Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите… Или… или… я не смею докончить…

— Да, — повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя…», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.

На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее сестры.

Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди.

— Вот как, — проговорил он, — а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскою любовью. Что же вы намерены теперь сделать?

— Что *вы* мне посоветуете? — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться.

— Да я полагаю, — ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же как и ей, — я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая; состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прекословить не будет.

Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело.

— Вы думаете? — промолвила она. — Что ж? я не вижу препятствий… Я рада за Катю… и за Аркадия Николаича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди… Как это я ничего не видала? Это меня удивляет!

Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась.

— Нынешняя молодежь больно хитра стала, — заметил Базаров и тоже засмеялся. — Прощайте, — заговорил он опять после небольшого молчания. — Желаю вам окончить это дело самым приятным образом; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась к нему.

— Разве вы уезжаете? Отчего же вам *теперь* не остаться? Останьтесь… с вами говорить весело… точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

— Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» — подумала она — и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

— Нет! — сказал он и отступил на шаг назад. — Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

— Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, — произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

— Чего на свете не бывает! — ответил Базаров, поклонился и вышел.

— Так ты задумал гнездо себе свить? — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. — Что ж? дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?

— Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою, — ответил Аркадий, — но зачем ты сам лукавишь и говоришь: «дело хорошее», точно мне неизвестно твое мнение о браке?

— Эх, друг любезный! — проговорил Базаров, — как ты выражаешься! Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только оттого и слывет умною, что умно вздыхает; а твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет, — ну, да это так и следует. — Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. — А теперь повторяю тебе на прощанье… потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь… ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь — и уж воображаете себя молодцами, — а мы драться

хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно — нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич — *э волату,* как выражается мой родитель.

— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений, — печально промолвил Аркадий, — и у тебя нет других слов для меня?

Базаров почесал у себя в затылке.

— Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, — это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора! Со всеми я простился… Ну что ж? обняться, что ли?

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно Базаров. — Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит!

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — Вот тебе! изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? Разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась.

Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоящем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастия не показалось ей самой немного тягостным; но вышло совершенно напротив: это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась и опечалилась. «Видно, прав Базаров, — подумала она, — любопытство, одно любопытство, и любовь к покою, и эгоизм…»

— Дети! — промолвила она громко, — что, любовь чувство напускное?

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились; невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их; и это было ей нетрудно: она успокоилась сама.

XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатицей»: куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума.

— Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина, — сказал ему Базаров, — я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

— Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! — отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка моя, — говорил он ей, — в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька!» — бывало скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: «Ничего, ничего, я так», — а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, щей или борщу? — „Да что ж ты у него сама не спросила?“ — „А надоем!“ Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться: лихорадка работы с него *соскочила* и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была

непродолжительна. «Енюша меня сокрушает, — жаловался он втихомолку жене, — он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен — вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший». — «Господи, господи! — шептала старушка, — надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным обратим расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии… Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». — «Ну, ну, ну, я ничего!» — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни горланят: *Время верное приходит, сердце чувствует любовь…* Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории, — вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим… тоже, потому, значит… какой положон у нас, примерно, придел». — «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебивал его Базаров, — и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

— Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, — успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик, — а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

— О чем толковал? — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. — О недоимке, что ль?

— Какое о недоимке, братец ты мой! — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив,

слышалась какая-то небрежная суровость, — так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?



— Где понять! — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового…

Впрочем, он нашел наконец себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже

утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, все твердил: «Ну, это дело девятое!» — потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава богу! перестал хандрить! — шептал он своей супруге. — Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку гулярдовой воды или банку беленной мази, — ты, голубушка, должна ежеминутно бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:



— Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся… Мне кажется, дуб, и тот бы вылетел вон!..

— Похвально! — промолвил наконец отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

— Есть; на что тебе?

— Нужно… ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

— Ради самого бога, — промолвил Василий Иванович, — позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то невелика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как… поздно… — едва мог произнести Василий Иванович.

— Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрел на его ланцеты, — промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился,

хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился… но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. — Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетиту нету? А голова? — прибавил он робким голосом, — болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений, — продолжал Василий Иванович, — но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял, — промолвила Арина Власьевна.

— Простудился, — повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чая из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше» — и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина;

со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина, — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений! — пролепетал он, — что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился…

— Полно, — не спеша перебил его Базаров. — Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки… заражения, Евгений?.. помилуй!

— А это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим, — сказал он наконец, — положим… если… если даже что-нибудь вроде… заражения…

— Пиэмии, — подсказал сын.

— Ну да… вроде… эпидемии…

— *Пиэмии,* — сурово и отчетливо повторил Базаров. — Аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно… А все-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с

матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу. — Он отпил еще немного воды. — А я хочу попросить тебя об одной вещи… пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

— Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором… Этим ты себя потешил… потешь и меня: пошли ты нарочного…

— К Аркадию Николаичу, — подхватил старик.

— Кто такой Аркадий Николаич? — проговорил Базаров как бы в раздумье. — Ах да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица… Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

— Исполню… Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений… Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

— Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

— Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно… и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.

— Молись, Арина, молись! — простонал он, — наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

— А вам случалось видеть, что люди в моем положении *не* отправляются в Елисейские? — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

— Сила-то, сила, — промолвил он, — вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а

я… Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? — прибавил он погодя немного. — Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?

— Какой я философ! — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить, — шептал он, сжимая кулаки, — что за вздор!» И тут же говорил:

«Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» — Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни… рвотное… горчишники к желудку… кровопускание», — говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова… Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

— Слава богу! — твердил он. — Наступил кризис… прошел кризис.

— Эка, подумаешь! — промолвил Базаров, — слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» — и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут — он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

— Браво! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

— Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил?

— Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует, — отвечал Василий Иванович.

— Ну и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

— Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить — и не мог.

— Евгений! — произнес он наконец, — сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова… Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:

— Что, мой отец?

— Евгений, — продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. — Евгений, тебе теперь лучше; ты, бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее… ведь навек, Евгений… ты подумай, каково-то…

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить, — промолвил он наконец, — но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в божьей воле, а исполнивши долг…

— Нет, я подожду, — перебил Базаров. — Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобою ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.

— Помилуй, Евгений…

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы…

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе

катились легкие колеса; вот уже послышалось фырканье лошадей… Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двуместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо… Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее…

— Я Одинцова, — промолвила она. — Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

— Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты. — Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба…

— Что такое, господи! — пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.

— Что вы! что вы! — твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

— Wo ist der Kranke?[148] И где же есть пациент? — проговорил наконец доктор, не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.

— Здесь, здесь, пожалуйте за мной, *вертестер герр коллега*[149], — прибавил он по старой памяти.

— Э! — произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

— Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына, — и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза.

— Что ты сказал?

— Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами.

— Она здесь… я хочу ее видеть.

— Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.



Базаров взглянул на немца.

— Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: jam moritur.[150]

— Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein,[151] — начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

— *Их… габе…*[152] Говорите уж лучше по-русски, — промолвил старик.

— А, а! *так этто фот как этто…* Пошалуй…

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова… и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, — мгновенно сверкнула у ней в голове.

— Спасибо, — усиленно заговорил он, — я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра… — начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь…

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело.

Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо, — повторил Базаров. — Это по-царски… Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильич, я надеюсь…

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая шутка смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу… а там придет беспамятство, и *фюить!* (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать… я любил вас! это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая…

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь… сядьте там… Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная! — шепнул он. — Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая… в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет… Все равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша.



— Меня вы забудете, — начал он опять, — мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет… Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось… вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать… Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен,

портной нужен, мясник… мясо продает… мясник… постойте, я путаюсь… Тут есть лес…

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

— Евгений Васильич, я здесь…

Он разом принял руку и приподнялся.

— Прощайте, — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. — Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет…

Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу.

— И довольно! — промолвил он и опустился на подушку. — Теперь… темнота…

Анна Сергеевна тихо вышла.

— Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович.

— Он заснул, — отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу, — хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, — и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так, — рассказывала потом в людской Анфисушка, — рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень…»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым…

XXVIII

Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших

лошадок. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей, состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.

Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошели и возмужали; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и *грансеньйорства* его выразительным чертам… Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна — другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и в сущности очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу.

— Ты нас покидаешь, ты нас покидаешь, милый брат, — начал он, — конечно, ненадолго; но все же я не могу не выразить тебе, что я… что мы… сколь я… сколь мы… Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи! Аркадий, скажи ты.

— Нет, папаша, я не приготовлялся.

— А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!

Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом:

«Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!»[153] Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.

— В память Базарова, — шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.

Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова, — человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья… пожалуй, до любви. Княжна Х……я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о *ман*ципации (произнося *ан* в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту *мун*ципацию». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все *е* как *ю: тюпюрь, обюспючюн,* но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы — у него были лаковые полусапожки.

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим

пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, «a *perfect gentleman». С* русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но все это выходит у него очень мило, и небрежно, и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в высшем свете это считается *très distingué*.[154] Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся *во временной оппозиции,* величаво посетил его, проезжая на богемские воды, а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и т. д. никто не может так легко и скоро, как *der Herr Baron von Kirsanoff*.[155] Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело… тяжелей, чем он сам подозревает… Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься…

И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком… и литератором.

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков

России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем… Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…



Приложения

Д. И. Писарев

Базаров («Отцы и дети», роман И. С. Тургенева)

I

Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы привык ли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша; характеры и положения, сцены и картины нарисованы так наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное наслаждение, которого не объяснишь ни занимательностью рассказываемых событий, ни поразительною верностью основной идеи. Дело в том, что события вовсе не занимательны, а идея вовсе не по разительно верна. В романе нет ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманного плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины, и, главное, сквозь ткань рассказа сквозит личное, глубоко прочувственное отношение автора к выведенным явлениям жизни. А явления эти очень близки к нам, так близки, что все наше молодое поколение с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа. Я этим не хочу сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям Тургенев относится с своей личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между со бою в убеждениях и симпатиях. Но если вы подойдете к зеркалу, которое, отражая предметы, изменяет немного их цвета, то вы узнаете свою физиономию, несмотря на погрешности зеркала. Читая роман Тургенева, мы видим в нем типы на стоящей минуты и в то же время отдаем себе отчет в тех изменениях, которые испытали явления действительности, про ходя через сознание художника. Любопытно проследить, как действуют на человека, подобного Тургеневу, идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении и проявляющиеся, как все живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных, иногда уродливых.

Такого рода исследование может иметь очень глубокое значение.

Тургенев — один из лучших людей прошлого поколения; определить, как он смотрит на нас и почему он смотрит на нас так, а не иначе, значит найти причину того разлада, который замечается повсеместно в нашей частной семей ной жизни; того разлада, от которого часто гибнут молодые жизни и от которого постоянно кряхтят и охают старички и старушки, не успевающие обработать на свою колодку понятия и поступки своих сыновей и дочерей. Задача, как видите, жизненная, крупная и сложная; сладить я с нею, вероятно, не слажу, а подумать — подумаю.

Роман Тургенева кроме своей художественной красоты замечателен еще тем, что он шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает никакого вопроса и да же освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько отношения автора к этим самым явлениям. Наводит он на размышления именно потому, что весь насквозь проникнут самою полною, самою трогательною искренностью. Все, что написано в последнем романе Тургенева, прочувствовано до последней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознания самого автора и согревает объективный рассказ, вместо того чтобы выражаться в лирических отступлениях. Автор сам не отдает себе ясного отчета в своих чувствах, не подвергает их анализу, не становится к ним в критические отношения. Это обстоятельство дает нам возможность видеть эти чувства во всей их нетронутой непосредственности. Мы видим то, что просвечивает, а не то, что автор хочет показать или доказать. Мнения и суждения Тургенева не изменят ни на волос нашего взгляда на молодое поколение и на идеи нашего времени; мы их даже не примем в соображение, мы с ними даже не будем спорить; эти мнения, суждения и чувства, выраженные в неподражаемо живых об разах, дадут только материалы для характеристики прошлого поколения в лице одного из лучших его представителей. По стараюсь сгруппировать эти материалы и, если это мне удастся, объясню, почему наши старики не сходятся с нами, ка чают головами и, смотря по различным характерам и по различным настроениям, то сердятся, то недоумевают, то тихо грустят по поводу наших поступков и рассуждений.

II

Действие романа происходит летом 1859 года. Молодой кандидат, Аркадий Николаевич Кирсанов, приезжает в деревню к своему отцу вместе с своим приятелем, Евгением Васильевичем Базаровым,

который, очевидно, имеет сильное влияние на образ мыслей своего товарища. Этот Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего романа. Он — представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателя.

Базаров — сын бедного уездного лекаря; Тургенев ничего не говорит об его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бедная, трудовая, тяжелая; отец Базарова говорит о своем сыне, что он у них отроду лишней копейки не взял; по правде сказать, многого и нельзя было бы взять даже при величайшем желании, следовательно, если старик Базаров говорит это в похвалу своему сыну, то это значит, что Евгений Васильевич содержал себя в университете собственными трудами, перебивался копеечными уроками и в то же время находил возможность дельно готовить себя к буду щей деятельности. Из этой школы труда и лишений Базаров вышел человеком сильным и суровым; прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным источником познания, личное ощущение — единственным и последним убедительным доказательством. «…Я придерживаюсь отрицательного направления, — говорит он, — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проник нут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе это го не скажу». Как эмпирик, Базаров признает только то, что можно ощупать руками, увидать глазами, положить на язык — словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств. Все остальные человеческие чувства он сводит на деятельность нервной системы; вследствие этого наслаждения красотами природы, музыкою, живописью, поэзиею, любовью женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслаждения сытным обедом или бутылкою хорошего вина. То, что восторженные юноши называют идеалом, для Базарова не существует; он все это называет «романтизмом», а иногда вместо слова «романтизм» употребляет слово «вздор». Не смотря на все это, Базаров не ворует чужих платков, не вытягивает из родителей денег, работает усидчиво и даже не прочь от того, чтобы сделать в жизни что-нибудь путное. Я предчувствую, что многие из моих читателей зададут себе вопрос: а

что же удерживает Базарова от подлых поступков и что побуждает его делать что-нибудь путное? Этот вопрос поведет за собою следующее сомнение: уж не притворяется ли Базаров перед самим собою и перед другими? Не рисует ся ли он? Может быть, он в глубине души признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества. Хоть мне Базаров ни сват ни брат, хоть я, может быть, и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной справедливости, я постараюсь ответить на вопрос и опровергнуть лукавое сомнение.

На людей, подобных Базарову, можно негодовать, сколь ко душе угодно, но признавать их искренность — решительно необходимо. Эти люди могут быть честными и бесчестными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им убивать и грабить, и ничто, кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области наук и общественной жизни. Базаров не украдет платка по тому же самому, почему он не съест кусок тухлой говядины. Если бы Базаров умирал с голоду, то он, вероятно, сделал бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности победило бы в нем отвращение к дурному запаху разлагающегося мяса и к тайному посягательству на чужую собственность. Кроме непосредственного влечения у Базарова есть еще другой руководитель в жизни — расчет. Когда он бывает болен, он принимает лекарство, хотя не чувствует никакого непосредственного влечения к касторовому маслу или к асафетиде. Он поступает таким образом по расчету: ценою маленькой неприятности он покупает в будущем большее удобство или избавление от большей неприятности. Словом, из двух зол он выбирает меньшее, хотя и к меньшему не чувствует никакого влечения. У людей посредственных такого рода рас чет большею частью оказывается несостоятельным, они по расчету хитрят, подличают, воруют, запутываются и в конце концов остаются в дураках. Люди очень умные поступают иначе; они понимают, что быть честным очень выгодно и что всякое преступление, начиная от простой лжи и кончая смертоубийством, — опасно и, следовательно, неудобно. Поэтому очень умные люди могут быть честны по расчету и действовать начистоту там, где люди ограниченные будут вилять и метать петли. Работая неутомимо, Базаров повиновался не посредственному влечению, вкусу и, кроме того, поступал по самому верному расчету. Если бы он искал

протекции, кланялся, подличал, вместо того чтобы трудиться и держать себя гордо и независимо, то он поступал бы нерасчетливо. Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки. Благодаря двум последним средствам можно попасть в губернские или в столичные тузы, но по милости этих средств никому, с тех пор как мир стоит, не удалось сделаться ни Вашингтоном, ни Гарибальди, ни Коперником, ни Генрихом Гейне. Даже Герострат — и тот пробил себе карьеру собственными силами и попал в историю не по протекции. Что же касается до Базарова, то он не метит в губернские тузы: если воображение иногда рисует ему будущность, то эта будущность как-то неопределенно широка; работает он без цели, для добывания насущного хлеба или из любви к процессу работы, а между тем он смутно чувствует по количеству собственных сил, что работа его не останется бесследною и к чему-нибудь приведет. Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно именно вследствие своей громадности. Его не занимают те мелочи, из которых складываются обыденные людские отношения; его нельзя оскорбить явным пренебрежением, его нельзя обрадовать знаками уважения; он так полон собою и так непоколебимо-высоко стоит в своих собственных глазах, что де лается почти совершенно равнодушным к мнению других людей. Дядя Кирсанова, близко подходящий к Базарову по складу ума и характера, называет его самолюбие «сатанинскою гордостью». Это выражение очень удачно выбрано и совершенно характеризует нашего героя. Действительно, удовлетворить Базарова могла бы только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения, но, к несчастию для себя, Базаров не признает вечного существования человеческой личности. «Да вот, например, — говорит он своему товарищу Кирсанову, — ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать… А я и возненавидел этого последнего мужи ка, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну а дальше?»

Итак, Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным. Им управляют только личная прихоть или личные расчеты. Ни над собой, ни вне себя,

ни внутри себя он не признает ника кого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди — никакой высокой цели; в уме — ника кого высокого помысла, и при всем этом — силы огромные. «Да ведь это безнравственный человек! Злодей, урод!» — слышу я со всех сторон восклицания негодующих читателей. Ну хорошо, злодей, урод: браните больше, пре следуйте его сатирой и эпиграммой, негодующим лиризмом и возмущенным общественным мнением, кострами инквизиции и топорами палачей, — и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его в спирт на удивление почтенной публике. Если базаровщина — болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это та же холера.

III

Болезнь века раньше всего пристает к людям, стоящим по своим умственным силам выше общего уровня. Базаров, одержимый этой болезнью, отличается замечательным умом и вследствие этого производит сильное впечатление на сталкивающихся с ним людей. «…Настоящий человек, — говорит он, — тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть». Под определение настоящего чело века подходит именно сам Базаров; он постоянно сразу овладевает вниманием окружающих людей; одних он запугивает и отталкивает; других подчиняет не столько доводами, сколь ко непосредственною силою, простотою и цельностью своих понятий. Как человек замечательно умный, он не встречал себе равного. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе».

Он смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрыть свои полупрезрительные-полупокровительственные отношения к тем людям, которые его ненавидят, и к тем, которые его слушаются. Он никого не любит; не разрывая существующих связей и отношений, он в то же время не сделает ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддержать эти отношения, не смягчит ни одной ноты в своем суровом голосе, не пожертвует ни одною резкою шуткою, ни одним красным словцом.

Поступает он таким образом не во имя принципа, не для того, чтобы в каждую данную минуту быть вполне откровенным, а потому, что считает совершенно излишним стеснять свою особу в чем бы то ни

было, по тому же самому побуждению, по которому американцы задирают ноги на спинки кресел и заплевывают табачным соком паркетные полы пышных гостиниц. Базаров ни в ком не нуждается, никого не боится, никого не любит и, вследствие этого, никого не щадит. Как Диоген, он готов жить чуть не в бочке и за это предоставляет себе право говорить людям в глаза резкие истины по той причине, что это ему нравится. В цинизме Базарова можно различить две стороны — внутреннюю и внешнюю: цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лирическим порывам, к излияниям составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этой иронии, беспричинная и бесцельная резкость в обращении относятся к внешнему цинизму. Первый зависит от склада ума и от общего миросозерцания; второй обусловливается чисто внеш ними условиями развития, свойствами того общества, в котором жил рассматриваемый субъект. Насмешливые отношения Базарова к мягкосердечному Кирсанову вытекают из основных свойств общего базаровского типа. Грубые столкновения его с Кирсановым и с его дядею составляют его личную принадлежность. Базаров не только эмпирик — он, кроме того, неотесанный бурш, не знающий другой жизни, кроме бездомной, трудовой, подчас дико-разгульной жизни бедного студента. В числе почитателей Базарова найдутся, на верное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми манерами, следами бурсацкой жизни, будут подражать этим манерам, составляющим во всяком случае недостаток, а не достоинство, будут даже, может быть, утрировать его угловатость, мешковатость и резкость. В числе ненавистников Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые обратят особенное внимание на эти неказистые особенности его личности и поставят их в укор общему типу. Те и другие ошибутся и обнаружат только глубокое непонимание настоящего дела. И тем и другим можно будет напомнить стих Пушкина:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей…

Можно быть крайним материалистом, полнейшим эмпи риком — и в то же время заботиться о своем туалете, обра щаться утонченно-вежливо с своими знакомыми, быть любез ным собеседником и совершенным джентльменом. Это я говорю для тех читателей, которые, придавая важное значение утонченным манерам, с

отвращением посмотрят на Базарова, как на человека mal élevé и mauvais ton[156]. Он действительно mal élevé и mauvais ton, но это нисколько не относит ся к сущности типа и не говорит ни против него, ни в его пользу. Тургеневу пришло в голову выбрать представителем базаровского типа человека неотесанного; он так и сделал и, конечно, рисуя своего героя, не утаил и не закрасил его угловатостей. Выбор Тургенева можно объяснить двумя различными причинами. Во-первых, личность человека, беспощадно и с полным убеждением отрицающего все, что другие признают высоким и прекрасным, всего чаще вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни; от сурового труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют чувства; человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность, избавляет ся от слезливой чувствительности; за работою мечтать нельзя, потому что внимание сосредоточено на занимающем деле; а после работы нужен отдых, необходимо действительное удовлетворение физическим потребностям, и мечта нейдет на ум. На мечту человек привыкает смотреть как на блажь, свойственную праздности и барской изнеженности; нравственные страдания он начинает считать мечтательными; нравственные стремления и подвиги — придуманными и нелепыми. Для него, трудового человека, существует только одна, вечно повторяющаяся забота: сегодня надо думать о том, чтобы не голодать завтра. Эта простая, грозная в своей простоте забота заслоняет от него остальные, второстепенные тревоги, дрязги и заботы жизни; в сравнении с этою заботою ему кажутся мелкими, ничтожными, искусственно созданными раз ные неразрешенные вопросы, неразъясненные сомнения, не определенные отношения, которые отравляют жизнь людей обеспеченных и досужих.

Таким образом, пролетарий-труженик самым процессом своей жизни, независимо от процесса размышления, доходит до практического реализма; он за недосугом отучается меч тать, гоняться за идеалом, стремиться в идее к недостижимо-высокой цели. Развивая в труженике энергию, труд приучает его сближать дело с мыслью, акт воли с актом ума. Человек, привыкший надеяться на себя и на свои собственные силы, привыкший осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинает смотреть с более или менее явным пренебрежением на тех людей, которые, мечтая о любви, о полезной деятельности, о счастии всего человеческого рода, не умеют шевельнуть пальцем, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить свое собственное, в высшей степени неудобное положение. Словом, человек дела, будь он медик, ремесленник, педагог, даже литератор

(можно быть литератором и человеком дела в одно и то же время), чувствует естественное, непреодолимое от вращение к фразистости, к трате слов, к сладким мыслям, к сентиментальным стремлениям и вообще ко всяким претензиям, не основанным на действительной, осязательной силе. Такого рода отвращение ко всему отрешенному от жизни и улетучивающемуся в звуках составляет коренное свойство людей базаровского типа. Это коренное свойство вырабатывается именно в тех разнородных мастерских, в которых человек, изощряя свой ум и напрягая мускулы, борется с природою за право существовать на белом свете. На этом основании Тургенев имел право взять своего героя в одной из таких мастерских и привести его в рабочем фартуке, с неумытыми руками и угрюмо-озабоченным взглядом в общество фешенебельных кавалеров и дам. Но справедливость побуждает меня выразить предположение, что автор романа «Отцы и дети» поступил таким образом не без коварного умысла. Этот коварный умысел и составляет ту вторую причину, о ко торой я упомянул выше. Дело в том, что Тургенев, очевидно, не благоволит к своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся к вере и сочувствию, коробит от разъедающего реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значительной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма; он слишком слаб и впечатлителен, чтобы вынести безотрадное отрицание; ему необходимо помириться с существованием если не в области жизни, то по крайней мере в области мысли или, вернее, меч ты. Тургенев, как нервная женщина, как растение не-тронь-меня, сжимается болезненно от самого легкого соприкосновения с букетом базаровщины.

Чувствуя, таким образом, невольную антипатию к этому направлению мысли, он вывел его перед читающей публикою в возможно неграциозном экземпляре. Он очень хорошо знает, что в публике нашей очень много фешенебельных читателей, и, рассчитывая на утонченность их аристократического вкуса, не щадит грубых красок, с очевидным желанием уронить и опошлить вместе с героем тот склад идей, который составляет общую принадлежность типа. Он очень хорошо знает, что большинство его читателей скажут только о Базарове, что он дурно воспитан и что его нельзя пустить в порядочную гостиную; дальше и глубже они не пойдут; но, говоря с такими людьми, даровитый художник и честный человек дол жен быть в высшей степени осторожен из уважения к самому себе и к той идее, которую он защищает или опровергает. Тут надо держать в узде свою

личную антипатию, которая при известных условиях может превратиться в непроизвольную клевету на людей, не имеющих возможности защищаться тем же оружием.

IV

Я старался до сих пор обрисовать крупными чертами личность Базарова или, вернее, тот общий складывающийся тип, которого представителем является герой тургеневского романа. Надобно теперь проследить, по возможности, его историческое происхождение; надо показать, в каких отношениях находится Базаров к разным Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым и другим литературным типам, в которых, в прошлые десятилетия, молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии. Во всякое время жили на свете люди, недовольные жизнью вообще или некоторыми формами жизни в особенности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во всякое время жила припеваючи и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тем, что было налицо. Только какое-нибудь материальное бедствие, вроде «труса, глада, потопа, нашествия иноплеменных», приводило массу в беспокойное движение и нарушало обычай, сонливо-безмятежный процесс ее прозябания. Масса, составленная из тех сотен тысяч неделимых, которые никогда в жизни не пользовались своим головным мозгом как орудием самостоятельного мышления, живет себе со дня на день, обделывает свои делишки, получает местечки, играет в картишки, кое-что почитывает, следит за модою в идеях и в платьях, идет черепашьим шагом вперед по силе инерции и, никогда не задавая себе крупных, многообъемлющих вопросов, никогда не мучась сомнениями, не испытывает ни раздражения, ни утомления, ни досады, ни скуки. Эта масса не делает ни открытий, ни преступлений; за нее думают и страдают, ищут и находят, борются и ошибаются другие люди, вечно для нее чужие, вечно смотрящие на нее с пренебрежением и в то же время вечно работающие для того, чтобы увеличить удобства ее жизни. Эта масса, желудок человечества, живет на всем на готовом, не спрашивая, откуда оно берется, и не внося с своей стороны ни одной полушки в общую сокровищницу человеческой мысли. Люди массы у нас в России учатся, служат, работают, веселятся, женятся, плодят детей, воспитывают их, словом, живут самою полною жизнью, совершенно довольны собою и средою, не желают никаких усовершенствований и, шествуя по тор ной дороге, не подозревают ни возможности, ни необходимости других путей и

направлений. Они держатся заведенного порядка по силе инерции, а не вследствие привязанности к нему; попробуйте изменить этот порядок — они сейчас сживутся с нововведением; закоренелые староверы являются самобытными личностями и стоят выше безответного стада. А масса сегодня ездит по скверным проселочным дорогам и мирится с ними; через несколько лет она сядет в вагоны и будет любоваться быстротою движения и удобствами путешествия. Эта инерция, эта способность на все соглашаться и со всем уживаться составляет, может быть, драгоценнейшее до стояние человечества. Убогость мысли уравновешивается таким образом скромностью требований. Человек, у которого не хватает ума на то, чтобы придумать средства для улучшения своего невыносимого положения, может назваться счастливым только в том случае, если он не понимает и не чувствует неудобств своего положения. Жизнь человека ограниченного почти всегда течет ровнее и приятнее жизни гения или даже просто умного человека. Умные люди не уживаются с теми явлениями, к которым без малейшего труда привыкает масса. К этим явлениям умные люди, смотря по различным условиям темперамента и развития, становятся в самые разнородные отношения.

Вот, положим, живет в Петербурге молодой человек, единственный сын богатых родителей. Он умен. Учили его как следует, слегка всему тому, что по понятиям папеньки и гувернера необходимо знать молодому человеку хорошего семейства. Книги и уроки ему надоели; надоели и романы, которые он читал сначала потихоньку, а потом открыто; он жадно набрасывается на жизнь, танцует до упаду, волочится за женщинами, одерживает блестящие победы. Незаметно про летает два-три года; сегодня то же самое, что вчера, завтра то же, что сегодня, — шуму, толкотни, движения, блеску, пестроты много, а, в сущности, разнообразия впечатлений нет; то, что видел наш предполагаемый герой, то уже понятно и изучено им; новой пищи для ума нет, и начинается томительное чувство умственного голода, скуки. Разочарованный или, проще и вернее, скучающий молодой человек начинает раздумывать, что бы ему сделать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себе работу для того, чтобы не скучать, — все равно что гулять для моциона без определенной цели. О таком фокусе умному человеку и по думать странно. Да и, наконец, не угодно ли вам найти у нас такую работу, которая заинтересовала и удовлетворила бы умного человека, не втянувшегося в эту работу смолоду. Уж не поступить ли ему на службу в казенную палату? Или не готовиться ли для развлечения к магистерскому экзамену? Не

вообразить ли себя художником и не приняться ли, в двадцать пять лет, за рисование глаз и ушей, за изучение перспективы или генерал-баса?

Разве влюбиться? Оно, конечно, не мешало бы, да беда в том, что умные люди очень требовательны и редко удовлетворяются теми экземплярами женского пола, которыми изобилуют блестящие петербургские гостиные. С эти ми женщинами они любезничают, с ними они сводят интриги, на них они женятся, иногда по увлечению, чаще по благоразумному расчету; но сделать из отношений с подобными женщинами занятие, наполняющее жизнь, спасающее от скуки, — это для умного человека немыслимо. В отношении между мужчиною и женщиною проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальные проявления нашей частной и общественной жизни. Живая природа человека здесь, как и везде, скована и обесцвечена мундирностью и обрядностью. Ну вот, молодому человеку, изучившему мундир и обряд до последних подробностей, остается только или махнуть рукой на свою скуку, как на неизбежное зло, или с отчаянья броситься в разные эксцентричности, питая неопределенную надежду рассеяться. Первое сделал Онегин, второе — Печорин; вся разница между тем и другим заключается в темпераменте. Условия, при которых они формировались и от которых они заскучали, — одни и те же; среда, которая приелась тому и другому, — та же самая. Но Онегин холоднее Печорина, и потому Печорин дурит гораздо больше Онегина, кидается за впечатлениями на Кавказ, ищет их в любви Бэлы, в дуэли с Грушницким, в схватках с черкесами, между тем как Онегин вяло и лениво носит с собою по свету свое красивое разочарование. Немножко Онегиным, немножко Печориным бывал и до сих пор бывает у нас всякий мало-мальски умный человек, владеющий обеспеченным состоянием, выросший в атмосфере барства и не получивший серьезного образования.

Рядом с этими скучающими трутнями являлись и до сих пор являются толпами люди грустящие, тоскующие от не удовлетворенного стремления приносить пользу. Воспитанные в гимназиях и университетах, эти люди получают довольно основательные понятия о том, как живут на свете цивилизованные народы, как трудятся на пользу общества даровитые деятели, как определяют обязанности человека разные мыслители и моралисты. В неопределенных, но часто теплых выражениях говорят этим людям профессора о честной деятельности, о подвиге жизни, о самоотвержении во имя человечества, истины, науки, общества.

Вариации на эти теплые выражения наполняют собою задушевные студенческие беседы, во время которых высказывается так много юношески свежего, во время которых так тепло и безгранично верится в существование и в торжество добра. Ну вот, проникнутые теплыми словами идеалистов-профессоров, согретые собственными восторженными речами, молодые люди из школы выходят в жизнь с неукротимым желанием сделать хорошее дело или — пострадать за правду. Пострадать им иногда приходится, но сделать дело никогда не удается. Они ли сами в этом виноваты, та ли жизнь виновата, в которую они вступают, — рассудить мудрено. Верно, по крайней мере, то, что переделать условия жизни у них не хватает сил, а ужиться с этими условиями они не умеют. Вот они мечутся из стороны в сторону, пробуют свои силы на разных карьерах, просят, умоляют общество: «Пристрой ты нас куда-нибудь, возьми ты наши силы, выжми из них для себя какую-нибудь частицу пользы; погуби нас, но губи так, чтобы наша гибель не пропала даром». Общество глухо и неумолимо; горячее желание Рудиных и Бельтовых пристроиться к практической деятельности и видеть плоды своих трудов и пожертвований остается бесплодным. Еще ни один Рудин, ни один Бельтов не дослужился до начальника отделения; да к тому же — странные люди! — они, чего доброго, даже этою почетною и обеспеченною должностью не удовлетворились бы. Они говорили на таком языке, которого не понимало общество, и после напрасных попыток растолковать этому обществу свои желания они умолкали и впадали в очень извинительное уныние. Иные Рудины успокоивались и находили себе удовлетворение в педагогической деятельности; делаясь учителями и профессорами, они находили исход для своего стремления к деятельности. Сами мы, говорили они себе, ничего не сделали. По крайней мере передадим наши честные тенденции молодому поколению, которое будет крепче нас и создаст себе другие, более благоприятные времена. Оставаясь таким образом вдали от практической деятельности, бедные идеалисты-преподаватели не замечали того, что их лекции плодят таких же Рудиных, как и они сами, что их ученикам придется точно так же оставаться вне практической деятельности или делаться ренегатами, отказываться от убеждений и тенденций. Рудиным-преподавателям было бы тяжело предвидеть, что они даже в лице своих учеников не примут участия в практической деятельности; а между тем они бы ошиблись, если бы, даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносят никакой пользы. Отрицательная польза, при несенная и приносимая

людьми этого закала, не подлежит ни малейшему сомнению. Они размножают людей, *неспособных* к практической деятельности; вследствие этого самая практическая деятельность или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижается во мнении общества. Лет двадцать тому назад все молодые люди служили в различных ведомствах; люди неслужащие принадлежали к исключительным явлениям; об щество смотрело на них с состраданием или с пренебрежением; сделать карьеру — значило дослужиться до большого чина. Теперь очень многие молодые люди не служат, и никто не находит в этом ничего странного или предосудительного. Почему так случилось? А потому, мне кажется, что к подобным явлениям пригляделись, или, что то же самое, потому что Рудины размножились в нашем обществе. Не так давно, лет шесть тому назад, вскоре после Крымской кампании, наши Рудины вообразили себе, что их время настало, что общество примет и пустит в ход те силы, которые они давно предлагали ему с полным самоотвержением. Они рванулись вперед; литература оживилась; университетское преподавание сделалось свежее; студенты преобразились; общество с небывалым рвением принялось за журналы и стало даже заглядывать в аудитории; возникли даже новые административные должности. Казалось, что за эпохою бесплодных мечтаний и стремлений наступает эпоха кипучей, полезной деятельности. Казалось, рудинству приходит конец, и даже сам г. Гончаров похоронил своего Обломова и объявил, что под русскими именами таится много Штольцев. Но мираж рас сеялся — Рудины не сделались практическими деятелями; из-за Рудиных выдвинулось новое поколение, которое с укором и насмешкой отнеслось к своим предшественникам. «Об чем вы ноете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам небось счастия хочется, — говорили эти новые люди мягко сердечным идеалистам, тоскливо опустившим крылышки, — да ведь мало ли что! Счастие надо завоевать. Есть силы — берите его. Нет сил — молчите, а то и без вас тошно!» Мрачная сосредоточенная энергия сказывалась в этом не дружелюбном отношении молодого поколения к своим наставникам. В своих понятиях о добре и зле это поколение сходилось с лучшими людьми предыдущего; симпатии у них были общие; желали они одного и того же, но люди прошлого метались и суетились, надеясь где-нибудь пристроиться и как-нибудь, втихомолку, урывками, незаметно влить в жизнь свои честные убеждения.

Люди настоящего не мечутся, ничего не ищут, нигде не

пристраиваются, не поддаются ни на какие компромиссы и ни на что не надеются. В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они сознали свое бессилие и перестали махать руками. «Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать».

Это холодное отчаяние, доходящее до полного индифферентизма и в то же время развивающее отдельную личность до последних пределов твердости и самостоятельности, напрягает умственные способности; не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушитель ной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений.

«— Что же вы делаете? (спрашивает дядя Аркадия у Базарова).

— А вот что мы делаем (отвечает Базаров). Прежде, в недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда…

— Ну да, да, вы обличители, — так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но…

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и чёрт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда *грубейшее суеверие нас душит* (курсив Д. И. Писарева. — *Ред*.), когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке…

— Так, — перебил Павел Петрович, — так; вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься?

— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо по вторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью».

Итак, вот мои выводы. Человек массы живет по установленной норме, которая достается ему на долю не по свобод ному выбору, а потому, что он родился в известное время, в известном городе или селе. Он весь опутан разными отношениями: родственными, служебными, бытовыми, общественны ми; мысль его скована принятыми предрассудками; сам он не любит ни этих отношений, ни этих предрассудков, но они представляются ему «пределом, его же не прейдеши», и он живет и умирает, не проявив своей личной воли и часто да же не заподозрив в себе ее существования. Если попадется в этой массе человек поумнее, то он, смотря по обстоятельствам, в том или в другом отношении выделится из массы и распорядится по-своему, как ему выгоднее, удобнее и приятнее. Умные люди, не получившие серьезного образования, не выдерживают жизни массы, потому что она надоедает им своею бесцельностью; они сами не имеют понятия о лучшей жизни и потому, инстинктивно отшатнувшись от массы, остаются в пустом пространстве, не зная, куда идти, зачем жить на свете, чем разогнать тоску. Здесь отдельная личность отрывается от стада, но не умеет распорядиться собою. Другие люди, умные и образованные, не удовлетворяются жизнью массы и подвергают ее сознательной критике; у них состав лен свой идеал; они хотят идти к нему, но, оглядываясь назад, постоянно боязливо спрашивают друг друга: а пойдет ли за нами общество? А не останемся ли мы одни с своими стремлениями? Не попадем ли мы впросак? У этих людей, за недостатком твердости, дело останавливается на словах. Здесь личность сознает свою отдельность, составляет себе понятие самостоятельной жизни и, не осмеливаясь двинуться с места, раздваивает свое существование, отделяет мир мыс ли от мира жизни. Люди третьего разряда идут дальше: они сознают свое несходство с массою и смело отделяются от нее поступками, привычками, всем образом жизни. Пойдет ли за ними общество, до этого им нет дела. Они полны со бою, своею внутреннею жизнью и не

стесняют ее в угоду принятым обычаям и церемониалам. Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особенности и самостоятельности.

Словом, у Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знание без воли; у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое.

V

До сих пор я говорил об общем жизненном явлении, вызвавшем собою роман Тургенева; теперь надо посмотреть, как это явление отразилось в художественном произведении. Узнавши, что такое Базаров, мы должны обратить внимание на то, как понимает этого Базарова сам Тургенев, как он заставляет его действовать и в какие отношения ста вит его к окружающим людям. Словом, я приступлю теперь к подробному фактическому разбору романа.

Я сказал выше, что Базаров приезжает в деревню к своему приятелю, Аркадию Николаевичу Кирсанову, подчиняющемуся его влиянию. Аркадий Николаевич — молодой человек, неглупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и постоянно нуждающийся в чьей-нибудь интеллектуальной поддержке. Он, вероятно, лет на пять моложе Базарова и в сравнении с ним кажется совершенно не оперившимся птенцом, несмотря на то что ему около двадцати трех лет и что он кончил курс в университете. Благоговея перед своим учителем, Аркадий с наслаждением отрицает ав тори теты; он делает это с чужого голоса, не замечая, таким образом, внутреннего противоречия в своем поведении. Он слишком слаб, чтобы держаться самостоятельно в той холодной атмосфере трезвой разумности, в которой так привольно дышится Базарову; он принадлежит к разряду людей, вечно опекаемых и вечно не замечающих над собою опеки. Базаров относится к нему покровительственно и почти всегда насмешливо; Аркадий часто спорит с ним, и в этих спорах Базаров дает полную волю своему увесистому юмору. Аркадий не любит своего друга, а как-то невольно подчиняется неотразимому влиянию сильной личности, и притом воображает себе, что глубоко сочувствует базаровскому миросозерцанию. От ношения его к Базарову чисто головные, сделанные на заказ; он познакомился с ним где-нибудь в студенческом кругу, заинтересовался цельностью его воззрений, покорился его си ле и вообразил себе, что он его глубоко уважает и от души любит. Базаров, конечно, ничего не вообразил и, нисколько не стесняя себя,

позволил своему новому прозелиту любить его, Базарова, и поддерживать с ним постоянные отношения. Поехал он с ним в деревню не для того, чтобы доставить ему удовольствие, и не для того, чтобы познакомиться с семейством своего нареченного друга, а просто потому, что это было по дороге, да и наконец, отчего же не пожить недели две в гостях у порядочного человека, в деревне, летом, когда нет никаких отвлекающих занятий и интересов?

Деревня, в которую приехали наши молодые люди, при надлежит отцу и дяде Аркадия. Отец его, Николай Петрович Кирсанов, — человек лет сорока с небольшим; по складу характера он очень похож на своего сына. Но у Николая Петровича между его умственными убеждениями и природными наклонностями гораздо больше соответствия и гармонии, чем у Аркадия. Как человек мягкий, чувствительный и даже сентиментальный, Николай Петрович не порывается к рационализму и успокоивается на таком миросозерцании, которое дает пищу его воображению и приятно щекочет его нравственное чувство. Аркадий, напротив того, хочет быть сыном своего века и напяливает на себя идеи Базарова, которые решительно не могут с ним срастись. Он — сам по себе, а идеи — сами по себе болтаются, как сюртук взрослого человека, надетый на десятилетнего ребенка. Даже та ребяческая радость, которая обнаруживается в мальчике, когда его шутя производят в большие, даже эта радость, говорю я, заметна в нашем юном мыслителе с чужого голоса. Аркадий щеголяет своими идеями, старается обратить на них внимание окружающих, думает про себя: «Вот какой я молодец!» — и, увы, как дитя малое, неразумное, иногда провирается и до ходит до явного противоречия с самим собою и с накладны ми своими убеждениями.

Дядя Аркадия, Павел Петрович, может быть назван Печориным маленьких размеров: он на своем веку пожуировал и подурачился, и наконец все ему надоело; пристроиться ему не удалось, да этого и не было в его характере; добравшись до той поры, когда, по выражению Тургенева, сожаления похожи на надежды и надежды похожи на сожаления, бывший лев удалился к брату в деревню, окружил себя изящным комфортом и превратил свою жизнь в спокойное прозябание. Выдающимся воспоминанием из прежней шумной и блестящей жизни Павла Петровича было сильное чувство к одной великосветской женщине, чувство, доставившее ему много наслаждений и вслед за тем, как бывает почти всегда, много страданий. Когда отношения Павла Петровича к этой женщине оборвались, то жизнь его

совершенно опустела.

«Как отравленный, бродил он с места на место, — говорит Тургенев; — он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя-тремя новы ми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равно душно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью — знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей».

Как человек желчный и страстный, одаренный гибким умом и сильною волею, Павел Петрович резко отличается от своего брата и от племянника. Он не поддается чужому влиянию; он сам подчиняет себе окружающие личности и ненавидит тех людей, в которых встречает себе отпор. Убеждений у него, по правде сказать, не имеется, но зато есть привычки, которыми он очень дорожит. Он по привычке толкует о правах и обязанностях аристократии и по привычке доказывает в спорах необходимость *принсипов*. Он привык к тем идеям, которых держится общество, и стоит за эти идеи, как за свой комфорт. Он терпеть не может, чтобы кто-нибудь опровергал эти понятия, хотя, в сущности, он не питает к ним никакой сердечной привязанности. Он гораздо энергичнее своего брата спорит с Базаровым, а между тем Николай Петрович гораздо искреннее страдает от его беспощадного отрицания. В глубине души Павел Петрович такой же скептик и эмпирик, как и сам Базаров; в практической жизни он всегда поступал и поступает, как ему вздумается, но в области мысли он не умеет признаться в этом перед самим собою и потому поддерживает на словах такие доктрины, которым постоянно противоречат его поступки. Дяде и племяннику следовало бы поменяться между собою убеждениями, потому что первый ошибочно приписывает себе веру в *принсипы*, второй точно так же ошибочно воображает себя крайним скептиком и смелым рационалистом. Павел Петрович начинает чувствовать к Базарову сильнейшую антипатию с первого знакомства. Плебейские манеры Базарова возмущают отставного денди; самоуверенность и нецеремонность его раздражают Павла Петровича как недостаток уважения к его изящной особе. Павел Петрович видит, что Базаров не уступит ему преобладания над собою, и это возбуждает в нем чувство досады, за которое он ухватывается как за развлечение среди глубокой деревенской скуки. Ненавидя самого Базарова, Павел Петрович возмущается всеми его мнениями, придирается к нему, насильно вызывает его на спор и спорит с тем рьяным увлечением, которое обыкновенно обнаруживают люди праздные и скучающие.

А что же делает Базаров среди этих трех личностей? Во-первых, он старается обращать на них как можно меньше внимания и большую часть своего времени проводит за работою; шляется по окрестностям, собирает растения и насекомых, режет лягушек и занимается микроскопическими наблюдениями; на Аркадия он смотрит как на ребенка, на Николая Петровича — как на добродушного старичка, или, как он выражается, на старенького романтика. К Павлу Петровичу он

относится не совсем дружелюбно; его возмущает в нем элемент барства, но он невольно старается скрывать свое раздражение под видом презрительного равнодушия. Ему не хочется сознаться перед собою, что он может сердиться на «уездного аристократа», а между тем страстная натура берет свое: он часто запальчиво возражает на тирады Павла Петровича и не вдруг успевает овладеть собою и замкнуться в свою насмешливую холодность. Базаров не любит ни спорить, ни вообще высказываться, и только Павел Петрович отчасти обладает уменьем вызвать его на многозначительный разговор. Эти два сильные характера действуют друг на друга враждебно; видя этих двух людей лицом к лицу, можно себе представить борьбу, происходящую между двумя поколениями, непосредственно следующими одно за другим. Николай Петрович, конечно, неспособен быть угнетателем, Ар кадий Николаевич, конечно, неспособен вступить в борьбу с семейным деспотизмом; но Павел Петрович и Базаров могли бы, при известных условиях, явиться яркими представителя ми: первый — сковывающей, леденящей силы прошедшего, второй — разрушительной, освобождающей силы настоящего.

На чьей же стороне лежат симпатии художника? Кому он сочувствует? На этот существенно важный вопрос можно отвечать положительно, что Тургенев не сочувствует вполне ни одному из своих действующих лиц; от его анализа не ускользает ни одна слабая или смешная черта; мы видим, как Базаров завирается в своем отрицании, как Аркадий наслаждается своей развитостью, как Николай Петрович робеет, как пятнадцатилетний юноша, и как Павел Петрович рисуется и злится, зачем на него не любуется Базаров, единственный человек, которого он уважает в самой ненависти своей.

Базаров завирается — это, к сожалению, справедливо. Он сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает; поэзия, по его мнению, ерунда; читать Пушкина — потерянное время; заниматься музыкою — смешно; наслаждаться природою — нелепо. Очень может быть, что он, человек, за тертый трудовой жизнью, потерял или не успел развить в себе способность наслаждаться приятным раздражением зри тельных и слуховых нервов, но из этого никак не следует, чтобы он имел разумное основание отрицать или осмеивать эту способность в других. Выкраивать других людей на одну мерку с собою — значит впадать в узкий умственный деспотизм. Отрицать совершенно произвольно ту или другую естественную и действительно существующую в человеке потребность или

способность — значит удаляться от чистого эмпиризма.

Увлечение Базарова очень естественно; оно объясняется, во-первых, односторонностью развития, во-вторых, общим характером эпохи, в которую нам пришлось жить. Базаров основательно знает естественные и медицинские науки; при их содействии он выбил из своей головы всякие пред рассудки; затем он остался человеком крайне необразованным; он слыхал кое-что о поэзии, кое-что об искусстве, не потрудился подумать и сплеча произнес приговор над незнакомыми ему предметами. Эта заносчивость свойственна нам вообще; она имеет свои хорошие стороны как умственная смелость, но зато, конечно, приводит порою к грубым ошибкам. Общий характер эпохи заключается в практическом направлении; мы все хотим жить и придерживаемся того правила, что соловья баснями не кормят. Люди очень энергические часто преувеличивают тенденции, господствующие в обществе; на этом основании слишком неразборчивое отрицание Базарова и самая односторонность его развития стоят в прямой связи с преобладающими стремлениями к осязательной пользе. Нам надоели фразы гегелистов, у нас закружилась голова от витания в заоблачных высях, и многие из нас, отрезвившись и спустившись на землю, ударились в крайность и, изгоняя мечтательность, вместе с нею стали преследовать простые чувства и даже чисто физические ощущения, вроде наслаждения музыкою. Большого вреда в этой крайности нет, но указать на нее не мешает, и назвать ее смешною вовсе не значит стать в ряды обскурантов и старенькиx романтиков. Многие из наших реалистов восстанут на Тургенева за то, что он не сочувствует Базарову и не скрывает от читателя промахов своего героя; многие изъявят желание, чтобы База ров был выведен человеком образцовым, рыцарем мысли без страха и упрека, и чтобы таким образом было доказано перед лицом читающей публики несомненное превосходство реализма над другими направлениями мысли. Да, реализм, по-моему, вещь хорошая; но во имя этого же самого реализма не будем же идеализировать ни себя, ни нашего направления. Мы смотрим холодно и трезво на все, что нас окружает; посмотрим же точно так же холодно и трезво на самих себя; кругом чушь и глушь, да и у нас самих не бог знает как светло. Отрицаемое нелепо, да и отрицатели тоже дела ют порою капитальные глупости; они все-таки стоят неизмеримо выше отрицаемого, но тут еще честь больно невелика; стоять выше вопиющей нелепости не значит еще быть гениальным мыслителем. Но мы, пишущие и говорящие реалисты, теперь слишком увлечены

умственною борьбою минуты, горячими схватками с отсталыми идеалистами, с которыми по-настоящему не стоило бы даже спорить; мы, говорю я, слишком увлечены, чтобы скептически отнестись к самим себе и проверить строгим анализом, не провираемся ли мы в пылу диалектических сражений, совершающихся в журнальных книжках и во вседневной жизни. К нам отнесутся скептически наши дети, или, может быть, мы сами узнаем себе со временем настоящую цену и посмотрим à vol d'oiseau[157] на теперешние любимые идеи. Тогда мы будем смотреть с вы соты настоящего на прошедшее; Тургенев же теперь смотрит на настоящее с высоты прошедшего. Он не идет за нами; он спокойно смотрит нам вслед, описывает нашу походку, рас сказывает нам, как мы ускоряем шаги, как прыгаем через рытвины, как порою спотыкаемся на неровных местах дороги.

В тоне его описания не слышно раздражения, он просто устал идти; развитие его личного миросозерцания окончи лось, но способность наблюдать за движением чужой мысли, понимать и воспроизводить все ее изгибы осталась во всей своей свежести и полноте. Тургенев сам никогда не будет Базаровым, но он вдумался в этот тип и понял его так вер но, как не поймет ни один из наших молодых реалистов. Апофеозы прошедшего нет в романе Тургенева. Автор «Рудина» и «Аси», разоблачивший слабости своего поколения и открывший в «Записках охотника» целый мир отечественных диковинок, делавшихся на глазах этого самого поколения, остался верен себе и не покривил душою в своем последнем произведении. Представители прошлого, «отцы», изображены с беспощадною верностью; они люди хорошие, но об этих хороших людях не пожалеет Россия; в них нет ни одного элемента, который действительно стоило бы спасать от могилы и от забвения, а между тем есть и такие минуты, когда этим отцам можно полнее сочувствовать, чем самому Базарову. Когда Николай Петрович любуется вечерним пейзажем, тогда он всякому непредубежденному читателю покажется человечнее Базарова, голословно отрицающего красоту природы.

«— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

В этих словах у Базарова отрицание превращается во что-то искусственное и даже перестает быть последовательным. Природа — мастерская, и человек в ней — работник, — с этою мыслью я готов

согласиться; но, развивая эту мысль дальше, я никак не прихожу к тем результатам, к которым приходит Базаров. Работнику надо отдыхать, и отдых не может ограничиться одним тяжелым сном после утомительного труда. Человеку необходимо освежиться приятными впечатлениями, и жизнь без приятных впечатлений, даже при удовлетворении всем насущным потребностям, превращается в невыносимое страдание. Последовательные материалисты, вроде Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам — в употреблении наркотических веществ. Они смотрят снисходительно даже на нарушения должной меры, хотя признают подобные нарушения вредными для здоровья. Если бы работник находил удовольствие в том, чтобы в свободные часы лежать на спине и глазеть на стены и потолок своей мастерской, то тем более всякий здравомыслящий человек сказал бы ему: глазей, любезный друг, глазей, сколько душе угодно; здоровью твоему это не повредит, а в рабочее время ты глазеть не будешь, чтобы не наделать промахов. Отчего же, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения красотою природы, мягким воздухом, свежею зеленью, нежными переливами контуров и красок? Преследуя романтизм, Базаров с невероятною подозрительностью ищет его там, где его никогда и не бывало. Вооружась против идеализма и разбивая его воздушные замки, он порою сам делается идеалистом, т. е. начинает предписывать человеку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мерке пригонять свои личные ощущения. Сказать человеку: не наслаждайся природой — все равно что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чем больше будет в жизни безвредных источников наслаждения, тем легче будет жить на свете, и вся задача нашего времени заключается именно в том, что бы уменьшить сумму страданий и увеличить силу и количество наслаждений. Многие возразят на это, что мы живем в такое тяжелое время, в котором еще нечего думать о наслаждении; наше дело, скажут они, работать, искоренять зло, сеять добро, расчищать место для великого здания, в котором будут пировать наши отдаленные потомки. Хорошо, я согласен с тем, что мы поставлены в необходимость работать для будущего, потому что плоды всех наших начинаний могут созреть только в течение нескольких столетий; цель наша, положим, очень возвышенна, но эта возвышенность цели представляет очень слабое утешение в житейских передрягах. Человеку усталому и измученному вряд ли станет весело и приятно от той мысли, что его праправнук будет жить в свое удовольствие. В тяжелые минуты жизни

утешаться возвышенностью цели — это, воля ваша, все равно что пить не подслащенный чай, поглядывая на кусок сахара, привешенный к потолку. Людям, не обладающим чрезмерною пылкостью воображения, чай не покажется вкуснее от этих тоскливых взглядов кверху. Точно так же жизнь, состоящая из одних трудов, окажется не по вкусу и не по силам современному человеку. Поэтому, с какой точки зрения вы ни посмотрите на жизнь, а все-таки выйдет на поверку, что наслаждение решительно необходимо. Одни посмотрят на наслаждение как на конечную цель; другие принуждены будут признать в наслаждении важнейший источник сил, необходимых для работы. В этом будет заключаться вся разница между эпикурейцами и стоиками нашего времени.

Итак, Тургенев никому и ничему в своем романе не со чувствует вполне. Если бы сказать ему: «Иван Сергеевич, вам Базаров не нравится, чего же вам угодно?» — то он на этот вопрос не ответил бы ничего. Он никак не пожелал бы молодому поколению сойтись с отцами в понятиях и влечениях. Его не удовлетворяют ни отцы, ни дети, и в этом случае его отрицание глубже и серьезнее отрицания тех людей, которые, разрушая то, что было до них, воображают себе, что они — соль земли и чистейшее выражение полной человечности. В разрушении своем эти люди, может быть, правы, но в наивном самообожании или в обожании того типа, к которому они себя причисляют, заключается их ограниченность и односторонность. Таких форм, таких типов, на которых действительно можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и, может быть, никогда не выработает жизнь. Те люди, которые, отдаваясь в полное распоряжение какой бы то ни было господствующей теории, отказываются от своей умственной самостоятельности и заменяют критику подобострастным поклонением, оказываются людьми узкими, бессильными и часто вредными. Поступить таким об разом способен Аркадий, но это совершенно невозможно для Базарова, и именно в этом свойстве ума и характера заключается вся обаятельная сила тургеневского героя. Эту обаятельную силу понимает и признает автор, несмотря на то что сам он ни по темпераменту, ни по условиям развития не сходится с своим нигилистом. Скажу больше: общие отношения Тургенева к тем явлениям жизни, которые составляют канву его романа, так спокойны и беспристрастны, так свободны от раболепного поклонения той или другой теории, что сам Базаров не нашел бы в этих отношениях ничего робкого или фальшивого. Тургенев не любит беспощадного отрицания, и между тем личность

беспощадного отрицателя выходит личностью сильною и внушает каждому читателю невольное уважение. Тургенев склонен к идеализму, а между тем ни один из идеалистов, выведенных в его романе, не может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера. Я уверен, что многие из наших журнальных критиков захотят во что бы то ни стало увидать в романе Тургенева затаенное стремление унизить молодое поколение и доказать, что дети хуже родителей, но я точно так же уверен в том, что непосредственное чувство читателей, не скованных обязательны ми отношениями к теории, оправдает Тургенева и увидит в его произведении не диссертацию на заданную тему, а верную, глубоко прочувствованную и без малейшей утайки на рисованную картину современной жизни. Если бы на тургеневскую тему напал какой-нибудь писатель, принадлежащий к нашему молодому поколению и глубоко сочувствующий базаровскому направлению, тогда, конечно, картина вышла бы не такая и краски были бы положены иначе. Базаров не был бы угловатым бурсаком, господствующим над окружающими людьми естественною силою своего здорового ума; он, может быть, превратился бы в воплощение тех идей, которые составляют сущность этого типа; он, может быть, представил бы нам в своей личности яркое выражение тенденции автора, но вряд ли он был бы равен Базарову в отношении к жизненной верности и рельефности. Предполагаемый мною молодой художник говорил бы своим произведением, обращаясь к сверстникам: «Вот, друзья мои, чем должен быть развитый человек! Вот конечная цель наших стремлений!» Что же касается до Тургенева, то он просто и спокойно говорит: «Вот какие бывают теперь молодые люди!» — и при этом не скрывает даже того обстоятельства, что ему такие молодые люди не совсем нравятся. «Как же это можно?! — закричат многие из наших современных критиков и публицистов. — Это обскурантизм!» Господа, можно было бы ответить им, да что вам за дело до личного ощущения Тургенева? Нравятся или не нравятся ему такие люди — это дело вкуса; вот если бы он, не сочувствуя типу, клеветал бы на него, тогда каждый честный человек имел бы право вывести его на свежую воду, но подобной клеветы вы не найдете в романе; даже угловатости Базарова, на которые я уже обращал внимание читателя, объясняются совершенно удовлетворительно обстоятельствами жизни и составляют если не существенно необходимое, то по крайней мере очень часто встречающееся свойство людей базаровского типа. Нам, молодым людям, было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы Тургенев скрыл и скрасил неграциозные

шероховатости; но я не думаю, что бы, потворствуя таким образом нашим прихотливым желаниям, художник полнее охватил бы явления действительности. Со стороны виднее достоинства и недостатки, и потому строго-критический взгляд на Базарова со стороны в настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнее, чем голословное восхищение или раболепное обожание. Взглянув на Базарова со стороны, взглянув так, как может смотреть толь ко человек «отставной», не причастный к современному движению идей, рассмотрев его тем холодным, испытующим взглядом, который дается только долгим опытом жизни, Тургенев оправдал и оценил его по достоинству. Базаров вышел из испытания чистым и крепким. Против этого типа Тургенев не нашел ни одного существенного обвинения, и в этом случае его голос, как голос человека, находящегося по ле там и по взгляду на жизнь в другом лагере, имеет особенно важное, решительное значение. Тургенев не полюбил Базарова, но признал его силу, признал его перевес над окружающими людьми и сам принес ему полную дань уважения.

Этого слишком достаточно для того, чтобы снять с рома на Тургенева всякий могущий возникнуть упрек в отсталости направления; этого достаточно даже для того, чтобы при знать его роман практически полезным для настоящего времени.

VI

Отношения Базарова к его товарищу бросают яркую полосу света на его характер; у Базарова нет друга, потому что он не встречал еще человека, «который бы не спасовал перед ним»; Базаров один, сам по себе, стоит на холодной высоте трезвой мысли, и ему не тяжело это одиночество, он весь поглощен собою и работою; наблюдения и исследования над живою природою, наблюдения и исследования над живыми людьми наполняют для него пустоту жизни и застраховывают его против скуки. Он не чувствует потребности в каком-нибудь другом человеке отыскать себе сочувствие и понимание; когда ему приходит в голову какая-нибудь мысль, он просто высказывается, не обращая внимания на то, согласны ли с его мнением слушатели и приятно ли действуют на них его идеи. Чаще всего он даже не чувствует потребности высказаться; думает про себя и изредка роняет беглое замечание, которое обыкновенно с почтительною жадностью подхватывают прозелиты и птенцы, подобные Аркадию. Личность Базарова замыкается в самой себе, потому что вне ее и вокруг нее почти вовсе нет родственных ей элементов. Эта замкнутость Базарова

тяжело действует на тех людей, которые желали бы от него нежности и сообщительности, но в этой замкнутости нет ничего искусственного и преднамеренного. Люди, окружающие Базарова, ничтожны в умственном отношении и никаким образом не могут рас шевелить его, поэтому он и молчит, или говорит отрывочные афоризмы, или обрывает начатый спор, чувствуя его смешную бесполезность. Посадите взрослого человека в одну комнату с дюжиной ребят, и вы, вероятно, не найдете удивительным, если этот взрослый не станет говорить с своими товарищами по месту жительства о своих человеческих, гражданских и научных убеждениях. Базаров не важничает перед другими, не считает себя гениальным человеком, непонятным для своих современников или соотечественников; он просто принужден смотреть на своих знакомых сверху вниз, потому что эти знакомые приходятся ему по колено; что ж ему делать? Ведь не садиться же ему на пол для того, чтобы сравняться с ними в росте? Не прикидываться же ребенком для того, чтобы делить с ребятами их недозрелые мыслёнки? Он поневоле остается в уединении, и это уединение не тяжело для него потому, что он молод, крепок, занят кипучею работою собственной мысли. Процесс этой работы остается в те ни; сомневаюсь, чтобы Тургенев был в состоянии передать нам описание этого процесса; чтобы изобразить его, надо самому пережить его в своей голове, надо самому быть Базаровым, а с Тургеневым этого не случалось, за это можно поручиться, потому что кто в жизни своей хотя один раз, хоть в продолжение нескольких минут смотрел на вещи глазами Базарова, тот остается нигилистом на весь свой век. У Тургенева мы видим только результаты, к которым пришел Базаров, мы видим внешнюю сторону явления, т. е. слышим, что говорит Базаров, и узнаём, как он поступает в жизни, как обращается с разными людьми. Психологического анализа, связного перечня мыслей Базарова мы не находим; мы можем только отгадывать, что он думал и как формулировал перед самим собою свои убеждения. Не посвящая читателя в тайны умственной жизни Базарова, Тургенев может возбудить недоумение в той части публики, которая не привык ла трудом собственной мысли дополнять то, что не договорено или не дорисовано в произведении писателя. Невни мательный читатель может подумать, что у Базарова нет внутреннего содержания и что весь его нигилизм состоит из сплетения смелых фраз, выхваченных из воздуха и не выработанных самостоятельным мышлением. Можно сказать положительно, что сам Тургенев не так понимает своего героя, и только потому не следит за постепенным развитием и созреванием

его идей, что не может и не находит удобным передавать мысли Базарова так, как они представляются его уму. Мысли Базарова выражаются в его поступках, в его обращении с людьми; они просвечивают, и их разглядеть не труд но, если только читать внимательно, группируя факты и от давая себе отчет в их причинах.

Два эпизода окончательно дорисовывают эту замечательную личность: во-первых, отношения его к женщине, которая ему нравится; во-вторых — его смерть.

Я рассмотрю и то и другое, но сначала считаю нелишним обратить внимание на другие, второстепенные подробности.

Отношения Базарова к его родителям могут одних читателей предрасположить против героя, других — против автора. Первые, увлекаясь чувствительным настроением, упрек нут Базарова в черствости; вторые, увлекаясь привязанностью к базаровскому типу, упрекнут Тургенева в несправедливости к своему герою и в желании выставить его с невыгодной стороны. И те и другие, по моему мнению, будут совершенно не правы. Базаров действительно не доставляет своим родителям тех удовольствий, которых эти добрые старики ожидают от его пребывания с ними, но между ним и его родителями нет ни одной точки соприкосновения.

Отец его — старый уездный лекарь, совершенно опустившийся в бесцветной жизни бедного помещика; мать его — дворяночка старого покроя, верящая во все приметы и умеющая только отлично готовить кушанье. Ни с отцом, ни с матерью Базаров не может ни поговорить так, как он говорит с Аркадием, ни даже поспорить так, как он спорит с Павлом Петровичем. Ему с ними скучно, пусто, тяжело. Жить с ни ми под одною кровлею он может только с тем условием, что бы они не мешали ему работать. Им это, конечно, тяжело; их он запугивает, как существо из другого мира, но ему-то что ж с этим делать? Ведь это было бы безжалостно в отношении к самому себе, если бы Базаров захотел посвятить два-три месяца на то, чтобы потешить своих стариков; для этого ему надо было бы отложить в сторону всякие занятия и целыми днями просиживать с Василием Ивановичем и с Ариною Власьевною, которые на радостях болтали бы вся кий вздор, приплетая каждый по-своему и уездные сплетни, и городские слухи, и замечания об урожае, и рассказы ка кой-нибудь юродивой, и латинские сентенции из старого медицинского трактата. Человек молодой, энергический, полный своею личною жизнью, не выдержал бы двух дней подобной идиллии и как угорелый вырвался бы из этого тихого уголка, где его так любят и где ему так страшно надоедают. Не знаю,

хорошо ли бы себя почувствовали старики Базаровы, если бы после двухсуточного блаженства они услышали от своего ненаглядного сына, что непредвиденные обстоятельства принуждают его уехать. Не знаю вообще, каким образом Базаров мог бы вполне удовлетворить требованиям своих родителей, не отказываясь совершенно от своего личного существования. Если же, так или иначе, ему непременно пришлось бы оставить их неудовлетворенными, тогда не из чего было возбуждать в них такие надежды, которые не мог ли осуществиться. Когда два человека, любящие друг друга или связанные между собою какими-нибудь отношениями, расходятся между собою в образовании, в идеях, в наклонностях и привычках, тогда разлад и страдание той или другой стороны, а иногда обеих вместе, делаются до такой степени неизбежными, что становится даже бесполезным хлопотать об их устранении. Но родители Базарова страдают от этого разлада, а Базаров и в ус не дует; это обстоятельство естественно располагает сострадательного читателя в пользу стариков; иной скажет даже: «Зачем он их мучает? Ведь они его так любят!» А чем же, позвольте вас спросить, он их мучает? Тем, что ли, что он не верит в приметы или скучает от их болтовни? Да как же ему верить-то и как же не скучать? Если бы самый близкий мне человек сокрушался бы оттого, что во мне с лишком два с половиною, а не полтора аршина роста, то я, при всем моем желании, не мог бы его утешить; вероятно, даже я не стал бы утешать его, а просто пожал бы плечами и отошел в сторону. Предвижу, впрочем, одно довольно курьезное обстоятельство: если бы Базаров так же страдал от невозможности сойтись с своими родителями, то сострадательные читатели помирились бы с ним и посмотрели бы на него как на несчастную жертву исторического процесса развития. Но Базаров не страдает, и потому многие на него накинутся и с негодованием назовут его бесчувственным человеком. Эти многие очень дорожат красотою чувства, хотя эта красота не имеет никакого практического значения. Страдание от разъединения с родителями кажется им чертою, необходимою для красоты чувства, и потому они требуют, чтобы Базаров страдал, не обращая внимания на то, что это нисколько не поправило бы дела и что Василию Ивановичу и Арине Власьевне от этого никак не было бы легче. Если же отношения Базарова к его родителям могут повредить ему только во мнении сострадательных читателей, то Тургенева нельзя упрекнуть в несправедливости или утрировке, потому что тем людям, у которых чувствительность берет решительный перевес над критикою ума, вообще не понравятся все существенные, основные черты

базаровского типа. Им не понравится ни трезвость мысли, ни беспощадность критики, ни твердость характера, не понравились бы им эти свойства даже в том случае, когда бы автор романа написал этим свойствам восторженный панегирик; следовательно, тут, как и везде, не художественная обработка, а самый материал, самое явление действительности возбудило бы не приязненные чувства. Изображая отношения Базарова к старикам, Тургенев вовсе не превращается в обвинителя, умышленно подбирающего мрачные краски; он остается по-прежнему искренним художником и изображает явление как оно есть, не подслащая и не скрашивая его по своему произволу. Сам Тургенев, может быть, по своему характеру подходит к сострадательным людям, о которых я говорил выше; он по рою увлекается сочувствием к наивной, почти не сознанной грусти старухи матери и к сдержанному, стыдливому чувству старика отца, увлекается до такой степени, что почти готов корить и обвинять Базарова; но в этом увлечении нельзя искать ничего преднамеренного и рассчитанного. В нем сказывается только любящая натура самого Тургенева, и в этом свойстве его характера трудно найти что-нибудь предосудительное. Тургенев не виноват в том, что жалеет бедных стариков и даже сочувствует их непоправимому горю. Тургеневу не резон скрывать свои симпатии в угоду той или другой психологической или социальной теории. Эти симпатии не заставляют его кривить душою и уродовать действительность, следовательно, они не вредят ни достоинству романа, ни личному характеру художника.

VII

Базаров с Аркадием отправляются в губернский город, по приглашению одного родственника Аркадия, и встречают ся с двумя в высшей степени типичными личностями. Эти личности — юноша Ситников и молодая дама Кукшина — представляют великолепно исполненную карикатуру безмозглого прогрессиста и по-русски эманципированной женщины. Ситниковых и Кукшиных у нас развелось в последнее время бесчисленное множество; нахвататься чужих фраз, исковеркать чужую мысль и нарядиться прогрессистом теперь так же легко и выгодно, как при Петре было легко и выгодно нарядиться европейцем. Истинных прогрессистов, т. е. людей действительно умных, образованных и добросовестных, у нас очень немного, порядочных и развитых женщин — еще того меньше, но зато не перечтешь того несметного количества разнокалиберной сволочи, которая тешится прогрессивными фразами, как модною вещицею, или

драпируется в них, что бы закрыть свои пошленькие поползновения. У нас можно сказать, что всякий пустомеля смотрит прогрессистом, лезет в передовые люди, создает из чужих лоскутьев свою теорию и даже часто силится заявить о ней в литературе. «Русский вестник» смотрит на это обстоятельство с сердечным прискорбием, которое часто переходит в крикливое негодование. Это крикливое негодование вызывает себе отпор.

«Что вы делаете? — говорят многие „Русскому вестнику". — Вы ругаете прогрессистов, вы вредите делу и идее прогресса». «Русский вестник», вероятно, с особенным на слаждением принял на свои страницы те сцены романа Тургенева, в которых действуют Ситников и Кукшина: вот, думает он, все псевдопрогрессисты с ужасом и с отвращением оглянутся на самих себя! Многие из литературных противни ков «Русского вестника» с ожесточением накинутся на Тургенева за эти сцены. «Он осмеивает нашу святыню! — закричат они с неистовыми жестами. — Он идет против направления века, против свободы женщины!» Этот спор между сторонника ми и противниками «Русского вестника», как вообще многие литературные и нелитературные споры, вовсе не касается то го предмета, по поводу которого горячатся спорящие стороны. Как негодование «Русского вестника» против Ситниковых, так и негодование многих журналов против возгласов «Русского вестника» не имеют ни малейшего смысла. Негодование против глупости и подлости вообще понятно, хотя, впрочем, оно так же плодотворно, как негодование против осенней сырости или зимнего холода. Но негодование против той формы, в которой выражается глупость или подлость, делается уже совершенно нелепым. Ни правительственные распоряжения, ни литературные теории никогда не уничтожат глупых и мелких людей; эти глупые и мелкие люди надевают на себя тот или другой костюм, но никакой головной убор не может за крыть их ослиные уши. Чем бы ни был Ситников — байронистом (вроде Грушницкого), гегелистом (вроде Шамилова) или нигилистом (каков он и есть), он все-таки останется пошлым человеком. Следовательно, не все ли равно, как он себя величает — консерватором или прогрессистом? Всего лучше то положение, которое делает глупого человека по возможности безвредным, а надо сказать правду, что глупый прогрессист принадлежит к числу наиболее безвредных созданий. В былые годы Ситников был бы способен из удальства бить на почтовых станциях ямщиков; теперь он уже откажет себе в этом удовольствии, потому что это не принято и потому что — я-де прогрессист. Уж и это хорошо, и

за то спасибо отечественному прогрессу. Против чего же тут негодовать и отчего же не позволить Ситникову величать себя прогрессистом и деятелем? Кому это вредит? Кому от этого больно? Но только, конечно, надо знать Ситниковым их настоящую цену и не надо ожидать чудес гражданской и человеческой доблести от такого общества, в котором большая половина сама не знает того, что она говорит и чего хочет. Поэтому худож ник, рисующий перед нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмеивающий искажения великих и прекрасных идей, заслуживает нашей полной признательности. Многие идеи сделались ходячею монетою и, путешествуя из рук в руки, потемнели и потерялись, как старый полтинник; на идею валят то, что принадлежит исключительно ее уродливому проявлению, то, что пристало к ней случайно от прикосновения грязных рук; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявление во всей его уродливости и, таким образом, строго отделить основную сущность от произвольных примесей. Между Кукшиной и эманципациею женщины нет ничего общего, между Ситниковым и гуманными идеями XIX века нет ни малейшего сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порождением времени было бы в высокой степени нелепо. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку, и эта драпировка все-таки лучше всего остального их умственного достояния. Стало быть, какой же смысл будет иметь негодование теоретиков против Тургенева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы лучше, если бы Тургенев представил русскую женщину, эманципированную в лучшем смысле этого слова, и молодого человека, проникну того высокими чувствами гуманности? Да ведь это было бы приятное самообольщение! Это была бы сладкая ложь, и к тому же ложь в высшей степени неудачная. Спрашивается, откуда бы взял Тургенев красок для изображения таких явлений, которых нет в России и для которых в русской жизни нет ни почвы, ни простора? И какое значение имела бы эта произвольная выдумка? Вероятно, возбудила бы в наших мужчинах и женщинах добродетельное желание подражать столь высоким образцам нравственного совершенства!.. Нет, скажут противники Тургенева, пусть автор не выдумывает небывалых явлений! Пусть он только разрушает старое, гнилое и не трогает тех идей, от которых мы ожидаем обильных, благодетельных результатов. Ах да! это понятно; это значит: наших не тронь! Да как же, господа, не трогать, если в числе наших много дряни, если фирмою многих идей пользуются те самые негодяи, которые, за несколько лет тому назад, были

Чичиковыми, Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Неужели не трогать их в награду за то, что они перебежали на нашу сторону, неужели поощрять их за ренегатство подобно тому, как в Турции поощряют за принятие исламизма? Нет, это было бы слишком нелепо. Мне кажется, идеи нашего времени слишком сильны своим собственным внутренним значением, чтобы нуждаться в искусствен ной подпорке. Пусть принимает эти идеи только тот, кто действительно убежден в их верности, и пусть он не думает, что титул прогрессиста сам по себе, подобно индульгенции, покрывает грехи прошедшего, настоящего и будущего. Ситниковы и Кукшины всегда останутся смешными личностями; ни один благо разумный человек не порадуется тому, что он стоит с ними под одним знаменем, и в то же время не при пишет их уродливости тому девизу, который написан на знамени. Посмотрите, как обращается Базаров с этими идиота ми; он, по приглашению Ситникова, заходит к Кукшиной, с целью посмотреть людей, завтракает, пьет шампанское, не обращает никакого внимания на усилия Ситникова блеснуть смелостью мысли и на усилия Кукшиной вызвать его, Базарова, на умный разговор и, наконец, уходит, даже не простившись с хозяйкой.

«Ситников выскочил вслед за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева. — Ведь я говорил вам: замечательная личность. Вот каких бы нам женщин побольше! Она в своем роде высоконравственное явление.

— А это заведение *твоего* отца — тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного *тыканья* Базарова».

VIII

В городе Аркадий знакомится на бале у губернатора с молодою вдовою, Анною Сергеевною Одинцовой; он танцует с нею мазурку, между прочим заговаривает с нею о своем друге Базарове и заинтересовывает ее восторженным описанием его смелого ума и решительного характера. Она приглашает его к себе и просит привести с собою Базарова. Базаров, заметивший ее, как только она появилась на бале, говорит о ней с Аркадием, невольно усиливая обыкновенный цинизм своего тона, отчасти для того, чтобы скрыть и от себя и от

своего собеседника впечатление, произведенное на него этою женщиною. Он с удовольствием соглашается пойти к Одинцовой вместе с Аркадием и объясняет себе и ему это удовольствие надеждою завести приятную интригу. Аркадия, не преминувшего влюбиться в Одинцову, коробит от шутливого тона Базарова, а Базаров, конечно, не обращает на это ни малейшего внимания, продолжает толковать о красивых плечах Одинцовой, спрашивает у Аркадия, действительно ли эта барыня — ой-ой-ой? говорит, что в тихом омуте черти водятся и что холодные женщины — все равно что мороженое. Подходя к квартире Одинцовой, Базаров чувствует некоторое волнение и, желая переломить себя, в начале визита ведет себя неестественно развязно и, по замечанию Тургенева, разваливается в кресле не хуже Ситникова. Одинцова замечает волнение Базарова, отчасти отгадывает его при чину, успокоивает нашего героя ровною и тихою приветливостью обращения и часа три проводит с молодыми людьми в неторопливой, разнообразной и живой беседе. Базаров обращается с нею особенно почтительно; видно, что ему не все равно, как об нем подумают и какое он произведет впечатление; он, против обыкновения, говорит довольно много, старается занять свою собеседницу, не делает резких выходок и даже, осторожно держась вне круга общих убеждений и воз зрений, толкует о ботанике, медицине и других хорошо известных ему предметах. Прощаясь с молодыми людьми, Одинцова приглашает их к себе в деревню. Базаров в знак согласия молча кланяется и при этом краснеет. Аркадий все это замечает и всему этому удивляется. После этого первого свидания с Одинцовой Базаров пробует по-прежнему говорить об ней шутливым тоном, но в самом цинизме его выражений сказывается какое-то невольное, затаенное уважение. Видно, что он любуется этою женщиною и желает с нею сблизиться; шутит он на ее счет потому, что ему не хочется говорить серьезно с Аркадием ни об этой женщине, ни о тех новых ощущениях, которые он замечает в самом себе. База ров не мог полюбить Одинцову с первого взгляда или после первого свидания; так вообще влюблялись только очень пустые люди в очень плохих романах. Ему просто понравилось ее красивое, или, как он сам выражается, богатое тело; раз говор с нею не нарушил общей гармонии впечатления, и этого на первый раз было достаточно, чтобы поддержать в нем желание узнать ее покороче. Базаров не составлял себе никаких теорий о любви. Его студенческие годы, о которых Тургенев не говорит ни слова, вероятно, не обошлись без похождений по сердечной части; Базаров, как мы увидим впоследствии, оказывается опытным человеком, но, по всей

вероятности, он имел дело с женщинами совершенно неразвитыми, далеко не изящными и, следовательно, неспособными сильно заинтересовать его ум или шевельнуть его нервы. Он и на женщин привык смотреть сверху вниз; встречаясь с Одинцовой, он видит, что может говорить с нею как равный с равною и предчувствует в ней долю того гибкого ума и твердого характера, который он сознает и любит в своей особе. Говоря между собою, Базаров и Одинцова, в умственном отношении, умеют как-то смотреть друг другу в глаза, через голову птенца Аркадия, и эти задатки взаимного понимания доставляют приятные ощущения обоим действующим лицам. База ров видит изящную форму и невольно любуется ею; под этою изящною формою он отгадывает самородную силу и безотчетно начинает уважать эту силу. Как чистый эмпирик, он наслаждается приятным ощущением и постепенно втягивается в это наслаждение, и втягивается до такой степени, что когда приходит время оторваться, тогда оторваться уже становится тяжело и больно. У Базарова в любви нет анализа, потому что нет недоверия к самому себе. Он едет в деревню к Одинцовой с любопытством и без малейшей боязни, потому что хочется присмотреться к этой миловидной женщине, хочется быть с нею вместе, провести приятно несколько дней. В деревне незаметно проходит пятнадцать дней; Базаров много говорит с Анной Сер геев ною, спорит с нею, высказывается, раздражается и, наконец, привязывается к ней какою-то злобною, мучительною страстью. Такую страсть всего чаще внушают энергическим людям женщины красивые, умные и холодные. Красота женщины волнует кровь ее обожателя; ум ее дает ей возможность понимать головою и обсуживать тонким психическим анализом такие чувства, которых она сама не разделяет и которым даже не сочувствует; холодность застраховывает ее против увлечения и, усиливая препятствия, вместе с тем усиливает в мужчине желание преодолеть их. Глядя на такую женщину, мужчина невольно думает: она так хороша, она так умно говорит о чувстве, порою так оживляется, высказывая свои тонкие психологические замечания или выслушивая мои горячо прочувствованные речи. Отчего же в ней так упорно молчит чувственность? Как затронуть ее за живое? Неужели вся жизнь ее сосредоточена в головном мозгу? Неужели она только тешится впечатлениями и не способна ими увлечься? Время уходит в напряженных усилиях распутать живую загадку; голова работает вместе с чувственностью; являются тяжелые, мучительные ощущения; весь роман отношений между мужчиною и женщиною принимает какой-то странный характер борьбы. Знакомясь с Одинцовой, Базаров

думал развлечься приятною интригою; узнавши ее покороче, он почувствовал к ней уважение и вместе с тем увидал, что надежды на успех очень мало; если бы он не успел привязаться к Одинцовой, тогда он просто махнул бы рукой и тотчас утешился бы практическим замечанием, что земля не клином сошлась и что на свете много таких женщин, с которыми легко справиться; он попробовал и тут поступить таким образом, но махнуть рукою на Одинцову у него не хватило сил. Практическое благоразумие советовало ему бросить все дело и уехать, чтобы не томить себя понапрасну, а жажда наслаждения говорила громче практического благоразумия, и Базаров оставался, и злился, и сознавал, что делает глупость, и все-таки продолжал ее делать, потому что желание пожить в свое удовольствие было сильнее желания быть последова тельным. Эта способность делать сознательные глупости составляет завидное преимущество людей сильных и умных. Человек бесстрастный и сухой поступает всегда так, как велят поступать логические выкладки; человек робкий и слабый старается обмануть себя софизмами и уверить себя в право те своих желаний или поступков; но Базаров не нуждается в подобных фокусах; он прямо говорит себе: это глупо, а по ступаю я все-таки так, как мне хочется, и ломать себя не хочу. Когда явится необходимость, тогда успею и сумею по вернуть самого себя как следует. Цельная, крепкая натура сказывается в этой способности сильно увлекаться; здоровый, неподкупный ум выражается в этом умении назвать глупостью то самое увлечение, которое в данную минуту охватывает весь организм.

Отношения Базарова с Одинцовой кончаются тем, что между ними происходит странная сцена. Она вызывает его на разговор о счастье и любви, она с любопытством, свойственным холодным и умным женщинам, выспрашивает у него, что в нем происходит, она вытягивает из него признание в любви, она с оттенком невольной нежности произносит его имя; потом, когда он, ошеломленный внезапным притоком ощущений и новых надежд, бросается к ней и прижимает ее к груди, она же отскакивает с испугом на другой конец комнаты и уверяет его, что он ее не так понял, что он ошибся.

Базаров уходит из комнаты, и тем кончаются отношения. Он уезжает на другой день после этого происшествия, потом видится раза два с Анной Сергеевной, даже гостит у нее вместе с Аркадием, но для него и для нее прошедшие события оказываются действительно невоскресимым прошедшим, и они смотрят друг на друга спокойно и говорят между собою тоном рассудительных и солидных людей. А между тем Базарову грустно смотреть на отношения с Одинцовой как на пережитый эпизод; он любит ее и, не давая себе воли ныть, страдать и разыгрывать несчастного любовника, становится, однако, как-то неровен в своем образе жизни: то бросается на работу, то впадает в бездействие, то просто скучает и брюзжит на окружающих людей. Высказаться он ни перед кем не хочет, да он и сам перед собою не сознается в том, что чувствует что-то похожее на тоску и на утомление. Он как-то злится и окисляется от этой неудачи, ему досадно думать, что счастье поманило его и прошло мимо, и досадно чувствовать, что это событие производит на него впечатление. Все это скоро переработалось бы в его организме; он принялся бы за дело, выругал бы самым энергическим образом проклятый романтизм и неприступную барыню, водив шую его за нос, и зажил бы по-прежнему, занимаясь резани ем лягушек и ухаживая за менее непобедимыми красавицами. Но Тургенев не вывел Базарова из тяжелого настроения. Базаров внезапно умирает, конечно не от огорчения, и роман оканчивается или, вернее, резко и неожиданно обрывается.

В то время как Базаров хандрит в деревне своего отца, Аркадий, влюбившийся также в Одинцову со времени губернаторского бала, но не успевший даже заинтересовать ее, сближается с ее сестрою, Катериною Сергеевною, 18-летнею девушкою, и, сам того не замечая, привязывается к ней, за бывает свою прежнюю страсть и, наконец, делает ей предложение. Она соглашается, Аркадий женится на ней, и вот, когда он уже объявлен женихом, между ним и Базаровым, уезжающим к своему отцу, происходит следующий короткий, но выразительный разговор.

«Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно База ров. — Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит.

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на

телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — Вот тебе, изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась».

Да, Аркадий, по выражению Базарова, попал в галки и прямо из-под влияния своего друга перешел под мягкую власть своей юной супруги. Но как бы то ни было, Аркадий свил себе гнездо, нашел себе кой-какое счастье, а Базаров остался бездомным, несогретым скитальцем. И это не при хоть романиста. Это не случайное обстоятельство. Если вы, господа, сколько-нибудь понимаете характер Базарова, то вы принуждены будете согласиться, что такого человека при строить очень мудрено и что он не может, не изменившись в основных чертах своей личности, сделаться добродетельным семьянином. Базаров может полюбить только женщину очень умную; полюбивши женщину, он не подчинит свою любовь никаким условиям; он не станет охлаждать и сдерживать себя и точно так же не станет искусственно подогревать своего чувства, когда оно остынет после полного удовлетворения. Он не способен поддерживать с женщиною обязательные отношения; его искренняя и цельная натура не подается на компромиссы и не делает уступок; он не покупает расположение женщины известными обязательствами; он берет его тогда, когда оно дается ему совершенно добровольно и безусловно. Но умные женщины у нас обыкновенно бывают осторожны и расчетливы. Их зависимое положение заставляет их бояться общественного мнения и не давать воли своим влечениям. Их страшит неизвестное будущее, им хочется за страховать его, и потому редкая умная женщина решится броситься на шею к любимому мужчине, не связав его предварительно крепким обещанием перед лицом общества и церкви. Имея дело с Базаровым, эта умная женщина поймет очень скоро, что никакое крепкое обещание не свяжет не обузданной воли этого своенравного человека и что его нельзя обязать быть хорошим мужем и нежным отцом семейства. Она поймет, что Базаров или вовсе не даст никакого обещания, или, давши его в минуту полного увлечения, нарушит его тогда, когда это увлечение рассеется. Словом, она поймет, что чувство Базарова свободно и останется свободным, не смотря ни на какие клятвы и контракты. Чтобы не отшатнуться от неизвестной перспективы, эта женщина должна безраздельно подчиниться

влечению чувства, броситься к любимому человеку, очертя голову и не спрашивая о том, что будет завтра или через год. Но так способны увлекаться только очень молодые девушки, совершенно незнакомые с жизнью, совершенно не тронутые опытом, а такие девушки не обратят внимания на Базарова или, испугавшись его рез кого образа мыслей, откинутся к таким личностям, из которых со временем вырабатываются почтенные галки. У Аркадия гораздо больше шансов понравиться молодой девушке, несмотря на то, что Базаров несравненно умнее и замечательнее своего юного товарища. Женщина, способная ценить Базарова, не отдастся ему без предварительных условий, по тому что такая женщина обыкновенно бывает себе на уме, знает жизнь и по расчету бережет свою репутацию. Женщина, способная увлекаться чувством, как существо наивное и мало размышлявшее, не поймет Базарова и не полюбит его. Словом, для Базарова нет женщин, способных вызвать в нем серьезное чувство и с своей стороны горячо ответить на это чувство. В настоящее время нет таких женщин, которые, умея мыслить, умели бы в то же время, без оглядки и без боязни, отдаваться влечению господствующего чувства. Как существо зависимое и страдательное, современная женщина из опыта жизни выносит ясное сознание своей зависимости и потому думает не столько о том, чтобы наслаждаться жизнью, сколько о том, чтобы не попасть в какую-нибудь не приятную переделку. Ровный комфорт, отсутствие грубых оскорблений, уверенность в завтрашнем дне для них дороги. Их за это нельзя осуждать, потому что человек, подверженный в жизни серьезным опасностям, поневоле становится осмотрительным, но вместе с тем трудно осуждать и тех муж чин, которые, не видя в современных женщинах энергии и решимости, навсегда отказываются от серьезных и прочных отношений с женщинами и пробавляются пустыми интрига ми и легкими победами. Если бы Базаров имел дело с Асею, или с Натальею (в «Рудине»), или с Верою (в «Фаусте»), то он бы, конечно, не отступил в решительную минуту, но дело в том, что женщины, подобные Асе, Наталье и Вере, увлекаются сладкоречивыми фразёрами, а перед сильными людьми, вроде Базарова, чувствуют только робость, близкую к антипатии. Таких женщин надо приласкать, а Базаров никого ласкать не умеет. Повторяю, в настоящее время нет женщин, способных серьезно ответить на серьезное чувство Базарова, и пока женщина будет находиться в теперешнем зависимом положении, пока за каждым ее шагом будут наблюдать и она сама, и нежные родители, и заботливые родственники, и то, что называется общественным мнением, до тех

пор Базаровы будут жить и умирать бобылями, до тех пор согревающая нежная любовь умной и развитой женщины будет им известна только по слухам да по романам. Базаров не дает женщине никаких гарантий; он доставляет ей только своею особою непосредственное наслаждение, в том случае, если его особа нравится; но в настоящее время женщина не может отдаваться непосредственному наслаждению, потому что за этим наслаждением всегда выдвигается грозный вопрос: а что же потом? Любовь без гарантий и условий не употребительна, а любви с гарантиями и условиями Базаров не понимает. Любовь так любовь, думает он, торг так торг, «а смешивать эти два ремесла», по его мнению, неудобно и неприятно. *К сожалению*, я должен заметить, что *безнравственные* и *пагубные* убеждения Базарова находят себе во многих хороших людях сознательное сочувствие.

IX

Рассмотрю теперь три обстоятельства в романе Тургенева: 1) отношение Базарова к простому народу, 2) ухаживание Базарова за Фенечкою и 3) дуэль Базарова с Павлом Петровичем.

В отношениях Базарова к простому народу надо заметить прежде всего отсутствие всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится, и потому Базарова любит прислуга, любят ребятишки, несмотря на то что он с ними вовсе не миндальничает и не задаривает их ни деньгами, ни пряниками.

Заметив в одном месте, что Базарова любят простые люди, Тургенев говорит в другом месте, что мужики смотрят на него как на шута горохового. Эти два показания нисколько не противоречат друг другу. Базаров держит себя с мужиками просто, не обнаруживает ни барства, ни приторного желания подделаться под их говор и поучить их уму-разуму, и потому мужики, говоря с ним, не робеют и не стесняются; но, с другой стороны, Базаров и по обращению, и по языку, и по понятиям совершенно расходится как с ними, так и с теми помещиками, которых мужики привыкли видеть и слушать. Они смотрят на него как на странное, исключи тельное явление, ни то ни се, и будут смотреть таким образом на господ, подобных Базарову, до тех пор, пока их не разведется больше и пока к ним не успеют приглядеться. У мужиков лежит сердце к Базарову, потому что они видят в нем простого и умного человека, но в то же время этот человек для них чужой, потому что он не знает их быта, их потребностей, их надежд и опасений, их понятий, верований и предрассудков.

После своего неудавшегося романа с Одинцовой Базаров снова приезжает в деревню к Кирсановым и начинает заигрывать с Фенечкою, любовницею Николая Петровича. Фенечка ему нравится как пухленькая, молоденькая женщина; он ей нравится как добрый, простой и веселый человек. В одно прекрасное июльское утро он успевает напечатлеть на ее свежие губки полновесный поцелуй; она слабо сопротивляется, так что ему удается «возобновить и продлить свой поцелуй». На этом месте его любовное похождение обрывается; ему, как видно, вообще не везло в то лето, так что ни одна интрига не доводилась до счастливого окончания, хотя все они начинались при самых благоприятных предзнаменованиях.

Вслед за тем Базаров уезжает из деревни Кирсановых, и Тургенев напутствует его следующими словами: «Ему и в голову не пришло, что он в этом доме нарушил все права гостеприимства».

Увидавши, что Базаров поцеловал Фенечку, Павел Петрович, давно уже питавший ненависть к «лекаришке» и нигилисту и, кроме того, неравнодушный к Фенечке, которая поче му-то напоминает ему прежнюю любимую женщину, вызывает нашего героя на дуэль. Базаров стреляется с ним, ранит его в ногу, потом сам перевязывает ему рану и на другой день уезжает, видя, что ему после этой истории неудобно оставаться в доме Кирсановых. Дуэль, по понятиям Базарова, нелепость. Спрашивается, хорошо ли поступил Базаров, принявши вызов Павла Петровича? Этот вопрос сводится на другой, более общий вопрос: позволительно ли вообще в жизни отступать от своих теоретических убеждений? Насчет понятия *убеждение* господствуют различные мнения, которые можно свести к двум главным оттенкам. Идеалисты и фанатики готовы всё сломать перед своим убеждением: и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты и законы жизни. Они кричат об убеждениях, не анализируя этого понятия, а потому решительно не хотят и не уме ют взять в толк, что человек всегда дороже мозгового вывода, в силу простой математической аксиомы, говорящей нам, что целое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажут таким образом, что отступать в жизни от теоретических убеждений — всегда позорно и преступно. Это не помешает многим идеалистам и фанатикам при случае струсить и по пятиться, а потом упрекать себя в практической несостоятельности и заниматься угрызениями совести. Есть другие люди, которые не скрывают от себя того, что им иногда приходится делать нелепости, а даже вовсе не желают обратить свою жизнь в логическую выкладку. К числу таких людей принадлежит Базаров. Он

говорит себе: «Я знаю, что дуэль — нелепость, но в данную минуту я вижу, что мне от нее отказаться решительно неудобно. По-моему, лучше сделать нелепость, чем, оставаясь благоразумным до последней степени, получить удар от руки или от трости Павла Петровича». Стоик Эпиктет, конечно, поступил бы иначе и даже решился бы с особенным удовольствием пострадать за свои убеждения, но Базаров слишком умен, чтобы быть идеалистом вообще и стоиком в особенности. Когда он размышляет, тогда дает своему мозгу полную свободу и не старается прийти к заранее назначенным выводам; когда он хочет действовать, тогда он по своему благоусмотрению применяет или не применяет свой логический вывод, пускает его в ход или оставляет его под спудом. Дело в том, что мысль наша свободна, а действия наши происходят во времени и в пространстве; между верною мыслью и благоразумным поступком такая же разница, как между математическим и физическим маятником. Базаров знает это и потому в своих поступках руководствуется практическим смыслом, сметкою и навыком, а не теоретическими соображениями.

X

В конце романа Базаров умирает; его смерть — случай ность; он умирает от хирургического отравления, т. е. от не большого пореза, сделанного во время рассечения трупа. Это событие не находится в связи с общею нитью романа; оно не вытекает из предыдущих событий, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характер своего героя. Действие романа происходит летом 1859 года; в течение 1860 и 1861 года Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания в жизни; он бы по-прежнему резал лягушек, возился бы с микроскопом и, насмехаясь над различными проявлениями романтизма, пользовался бы благами жизни по мере сил и возможности. Все это были бы только задатки; судить о том, что разовьется из этих задатков, можно будет только тогда, когда Базарову и его сверстникам минет лет пятьдесят и когда им на смену выдвинется новое поколение, которое в свою очередь отнесется критически к своим предшественникам. Такие люди, как Базаров, не определяются вполне одним эпизодом, выхваченным из их жизни. Такого рода эпизод дает нам только смутное понятие о том, что в этих людях таятся колос сальные силы. В чем выразятся эти силы? На этот вопрос может отвечать только биография этих людей или история их народа, а биография, как известно, пишется после смерти деятеля, точно так же, как история пишется тогда, когда со бытие уже

совершилось. Из Базаровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические деятели; такие люди долго остаются молодыми, сильными и годными на всякую работу; они не вдаются в односторонность, не привязываются к теории, не прирастают к специальным занятиям; они всегда готовы променять одну сферу деятельности на другую, более широкую и более занимательную; они всегда готовы выйти из ученого кабинета и лаборатории; это не труженики; углубляясь в тщательные исследования специальных вопросов науки, эти люди никогда не теряют из виду того великого мира, который вмещает в себя их лабораторию и их самих, со всею их наукою и со всеми их инструментами и аппаратами; когда жизнь серьезно шевельнет их мозговые нервы, тогда они бросят микроскоп и скальпель, тогда они оставят недописанным какое-нибудь ученейшее исследование о костях или перепонках. Базаров никогда не сделается фанатиком, жрецом науки, никогда не возведет ее в кумир, никогда не обречет своей жизни на ее служение; постоянно сохраняя скептическое отношение к самой науке, он не даст ей приобрести самостоятельное значение; он будет ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы выжать из нее непосредственную пользу для себя и для других. Медициною он будет заниматься от части для препровождения времени, отчасти как хлебным и полезным ремеслом. Если представится другое занятие, более интересное, более хлебное, более полезное, — он оста вит медицину, точно так же как Вениамин Франклин оставил типографский станок. Базаров — человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы; внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений. Если же в сознании, а следовательно, и в жизни общества произойдут желаемые изменения, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный труд мысли не даст им залениться, залежаться и заржаветь, а постоянно бодрствующий скептицизм не позволит им сделаться фанатиками специальности или вялыми последователями односторонней доктрины. Кто решится отгадывать будущее и бросать на ветер гипотезы? Кто решится дорисовывать такой тип, который только что начинает складываться и обозначаться и который может быть дорисован только временем и событиями? Не

имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами. Что Базаров не фразёр — это увидит всякий, вглядываясь в эту личность с пер вой минуты ее появления в романе. Что отрицание и скептицизм этого человека сознаны и прочувствованы, а не надеты для прихоти и для пущей важности, — в этом убеждает каждого беспристрастного читателя непосредственное ощущение. В Базарове есть сила, самостоятельность, энергия, которой не бывает у фразёров и подражателей. Но если бы кто-нибудь захотел не заметить и не почувствовать в нем присутствия этой силы, если бы кто-нибудь захотел подвергнуть ее сомнению, то единственным фактом, торжественно и безапелляционно опровергающим это нелепое сомнение, была бы смерть Базарова. Влияние его на окружающих людей ничего не доказывает; ведь и Рудин имел влияние; на безрыбье и рак рыба; и на людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Василию Ивановичу и Арине Власьевне, больно нетрудно произвести сильное впечатление. Но смотреть в глаза смерти, предвидеть ее приближение, не стараясь себя обмануть, оставаться верным себе до последней минуты, не ослабеть и не струсить — это дело сильного характера. Умереть так, как умер Базаров, — все равно что сделать великий подвиг; этот подвиг остается без последствий, но та доза энергии, которая тратится на подвиг, на блестящее и полезное дело, истрачена здесь на простой и неизбежный физиологический процесс. Оттого, что Базаров умер твердо и спокойно, никто не почувствовал себе ни облегчения, ни пользы, но такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опас ностью.

Описание смерти Базарова составляет лучшее место в романе Тургенева; я сомневаюсь даже, чтобы во всех произведениях нашего художника нашлось что-нибудь более замечательное. Выписывать какой-нибудь отрывок из этого велико лепного эпизода я считаю невозможным; это значило бы уродовать цельность впечатления; по-настоящему следовало бы выписать целых десять страниц, но место не позволяет мне этого сделать; кроме того, я надеюсь, что все мои читатели прочли или прочтут роман Тургенева, и потому, не извлекая из него ни одной строки, я постараюсь только про следить и объяснить с начала до конца болезни психическое состояние Базарова. Обрезав себе палец при рассечении тру па и не имевши возможности тотчас

прижечь ранку ляписом или железом, Базаров через четыре часа после этого события приходит к отцу и прижигает себе больное место, не скрывая ни от себя, ни от Василия Ивановича бесполезности этой меры в том случае, если гной разлагающегося трупа проник в ранку и смешался с кровью. Василий Иванович, как медик, знает, как велика опасность, но не решается взглянуть ей в глаза и старается обмануть самого себя. Проходит два дня. Базаров крепится, не ложится в постель, но чувствует жар и озноб, теряет аппетит и страдает сильною головною болью. Участие и расспросы отца раздражают его, потому что он знает, что все это не поможет и что старик только самого себя лелеет и тешит пустыми иллюзиями. Ему досадно видеть, что мужчина, и притом медик, не смеет видеть дело в настоящем свете. Арину Власьевну Базаров бережет; он говорит ей, что простудился; на третий день ложится в постель и про сит прислать ему липового чаю. На четвертый день он обращается к отцу, прямо и серьезно говорит ему, что скоро умрет, показывает ему красные пятна, выступившие на теле и служащие признаком заражения, называет ему медицинским термином свою болезнь и холодно опровергает робкие возражения растерявшегося старика. А между тем ему хочется жить, жаль прощаться с самосознанием, с своею мыслью, с своею сильною личностью, но эта боль расставания с молодою жизнью и с неизношенными силами выражается не в мягкой грусти, а в желчной, иронической досаде, в презрительном отношении к себе, как к бессильному существу, и к той грубой, нелепой случайности, которая смяла и задавила его. Нигилист остается верен себе до последней минуты.

Как медик, он видел, что люди зараженные всегда умирают, и он не сомневается в непреложности этого закона, не смотря на то что этот закон осуждает его на смерть. Точно так же он в критическую минуту не меняет своего мрачного миросозерцания на другое, более отрадное; как медик и как человек, он не утешает себя миражами.

Образ единственного существа, возбудившего в Базарове сильное чувство и внушившего ему уважение, приходит ему на ум в то время, когда он собирается прощаться с жизнью. Этот образ, вероятно, и раньше носился перед его воображением, потому что насильственно сдавленное чувство еще не успело умереть, но тут, прощаясь с жизнью и чувствуя приближение бреда, он просит Василия Ивановича послать нарочного к Анне Сергеевне и объявить ей, что Базаров умирает и приказал ей кланяться. Надеялся ли он увидеть ее перед смертью или просто хотел ей дать весть о себе, — это невозможно решить; может

быть, ему было приятно, произнося при другом человеке имя любимой женщины, живее представить себе ее красивое лицо, ее спокойные, умные глаза, ее молодое, роскошное тело. Он любит только одно существо в мире, и те нежные мотивы чувства, которые он давил в себе, как романтизм, теперь всплывают на поверхность; это не признак слабости, это — естественное проявление чувства, высвободившегося из-под гнета рассудочности. Базаров не изменяет себе; приближение смерти не перерождает его; напротив, он становится естественнее, человечнее, непринужденнее, чем он был в полном здоровье. Молодая, красивая женщина часто бывает привлекательнее в простой утренней блузе, чем в богатом бальном платье. Так точно умирающий Базаров, рас пустивший свою натуру, давший себе полную волю, возбуждает больше сочувствия, чем тот же Базаров, когда он холодным рассудком контролирует каждое свое движение и постоянно ловит себя на романтических поползновениях.

Если человек, ослабляя контроль над самим собою, становится лучше и человечнее, то это служит энергическим доказательством цельности, полноты и естественного богатства натуры. Рассудочность Базарова была в нем простительною и понятною крайностью; эта крайность, заставлявшая его мудрить над собою и ломать себя, исчезла бы от действия времени и жизни; она исчезла точно так же во время приближения смерти. Он сделался человеком, вместо того чтобы быть воплощением теории нигилизма, и, как человек, он вы разил желание видеть любимую женщину.

Анна Сергеевна приезжает, Базаров говорит с нею ласково и спокойно, не скрывая легкого оттенка грусти, любуется ею, просит у нее последнего поцелуя, закрывает глаза и впадает в беспамятство.

К родителям своим он остается по-прежнему равнодушен и не дает себе труда притворяться. О матери он говорит: «Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом?» Василию Ивановичу он предобродушно советует быть философом.

Следить за нитью романа после смерти Базарова я не на мерен. Когда умер такой человек, как Базаров, и когда его геройскою смертью решена такая важная психологическая задача, произнесен приговор над целым направлением идей, тогда стоит ли следить за судьбою людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Ситникову et tutti quanti?..[158] По стараюсь сказать несколько слов об отношениях Тургенева к новому, созданному им типу.

XI

Приступая к сооружению характера Инсарова, Тургенев во что бы то ни стало хотел представить его великим и вместо того сделал его смешным. Создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения. Он хотел сказать: наше молодое поколение идет по ложной дороге, и сказал: в нашем молодом поколении вся наша надежда. Тургенев не диалектик, не софист, он не может доказывать своими образами предвзятую идею, как бы эта идея ни казалась ему отвлеченно-верна или практически полезна. Он прежде всего художник, человек бессознательно, невольно искренний; его образы живут своею жизнью; он любит их, он увлекается ими, он привязывается к ним во время процесса творчества, и ему становится невозможным помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни в аллегорию с нравственною целью и с добродетельною развязкою. Честная, чистая натура художника берет свое, ломает теоретические загородки, торжествует над заблуждениями ума и своими инстинктами выкупает всё: и неверность основной идеи, и односторонность развития, и устарелость понятий. Вглядываясь в своего Базарова, Тургенев, как человек и как художник, растет в своем романе, растет на наших глазах и дорастает до правильного понимания, до справедливой оценки созданного типа.

С недобрым чувством начал Тургенев свое последнее про изведение. С первого разу он показал нам в Базарове угловатое обращение, педантическую самонадеянность, черствую рассудочность; с Аркадием он держит себя деспотически-небрежно, к Николаю Петровичу относится без нужды на смешливо, и все сочувствие художника лежит на стороне тех людей, которых обижают, тех безобидных стариков, которым велят глотать пилюлю, говоря о них, что они отставные люди. И вот художник начинает искать в нигилисте и беспощадном отрицателе слабого места; он ставит его в разные положения, вертит его на все стороны и находит против него только одно обвинение — обвинение в черствости и резкости. Всматривается он в это темное пятно; возникает в его голове вопрос: а кого же станет любить этот человек? В ком найдет удовлетворение своим потребностям? Кто его поймет насквозь и не испугается его корявой оболочки? Подводит он к своему герою умную женщину; женщина эта смотрит с любопытством на эту своеобразную личность; нигилист, с своей стороны, вглядывается в нее с возрастающим сочувствием и потом, увидав что-то похожее на нежность, на ласку, кидается к ней с нерассчитанною порывистостью молодого, горячего, любящего существа, готовый отдаться вполне, без торгу, без утайки, без задней

мысли. Так не кидаются люди холодные, так не любят черствые педанты. Беспощадный отрицатель оказывается моложе и свежее той молодой женщины, с которою он имеет дело; в нем накипела и вырвалась бешеная страсть в то время, когда в ней только что начинало бродить что-то вроде чувства; он бросился, перепугал ее, сбил ее с толку и вдруг отрезвил ее; она отшатнулась назад и сказала себе, что спокойствие все-таки лучше всего. С этой минуты все сочувствие автора переходит на сторону Базарова, и только кой-какие рассудочные замечания, которые не вяжутся с це лым, напоминают прежнее недоброе чувство Тургенева.

Автор видит, что Базарову некого любить, потому что вокруг него все мелко, плоско и дрябло, а сам он свеж, умен и крепок; автор видит это и в уме своем снимает с своего героя последний незаслуженный упрек. Изучив характер Базарова, вдумавшись в его элементы и в условия развития, Тургенев видит, что для него нет ни деятельности, ни счастья. Он живет бобылем и умрет бобылем, и притом бесполезным бобылем, умрет как богатырь, которому негде повернуться, нечем дышать, некуда девать исполинской силы, некого по любить крепкою любовью. А незачем ему жить, так надо посмотреть, как он будет умирать. Весь интерес, весь смысл романа заключается в смерти Базарова. Если бы он струсил, если бы он изменил себе, — весь характер его осветился бы иначе: явился бы пустой хвастун, от которого нельзя ожидать в случае нужды ни стойкости, ни решимости; весь роман оказался бы клеветою на молодое поколение, незаслуженным укором; этим романом Тургенев сказал бы: вот посмотрите, молодые люди, вот случай: умнейший из вас — и тот никуда не годится! Но у Тургенева, как у честного человека и искреннего художника, язык не повернулся произнести теперь такую печальную ложь. Базаров не оплошал, и смысл рома на вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни.

Кто прочел в романе Тургенева эту прекрасную мысль, тот не может не изъявить ему глубокой и горячей признательности, как великому художнику и честному гражданину России.

А Базаровым все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви, — стало быть, нет и наслаждения.

Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно.

А что же делать? Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры.

А. И. Герцен

Еще раз Базаров

‹…› Верно ли понял Писарев тургеневского Базарова, до этого мне дела нет. Важно то, что он в Базарове узнал *себя* и *своих* и добавил чего недоставало и книге. Чем Писарев меньше держался колодок, в которые разгневанный родитель старался вколотить упрямого сына, тем свободнее перенес на него свой идеал.

«Но в чем же может быть интересен для нас идеал г. Писарева? Писарев бойкий критик, он писал много, писал обо всем, иногда о таких предметах, которые знал, но все это не дает его идеалу права на общее внимание».

В том-то и дело, что это не его личный идеал, а тот идеал, который *до* тургеневского Базарова и *после него* носился в молодом поколении и воплощался не только в разных героев повестей и романов, но в живые лица, старавшиеся принять в основу действий и слов своих базаровщину. То, что Писарев говорит, я слышал и видел десять раз; он простодушно разболтал задушенную мысль целого круга и, собрав в одном фокусе рассеянные лучи, осветил ими нормального Базарова.

‹…› Странные судьбы отцов и детей! Что Тургенев вывел Базарова не для того, чтоб погладить по головке, — это ясно; что он хотел что-то сделать в пользу отцов, — и это ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и вместо того, чтоб посечь сына, он выпорол отцов.

Оттого-то и вышло, что часть молодого поколения узнала себя в Базарове. Но мы вовсе не узнаём себя в Кирсановых, так, как не узнавали себя ни в Маниловых, ни в Собакевичах, несмотря на то что Маниловы и Собакевичи существовали сплошь да рядом во время

нашей молодости и теперь существуют.

Мало ли какие стада нравственных недоносков живут в одно и то же время в разных слоях общества, в разных на правлениях его; без сомнения, они представляют больше или меньше общие типы, но не представляют самой резкой и характеристичной стороны своего поколения, — стороны, наиболее выражающей его интензивность. Писаревский Базаров, в одно стороннем смысле, — до некоторой степени предельный тип того, что Тургенев назвал *сыновьями*, в то время как Кирсановы — самые стертые и пошлые представители отцов.

Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и, по-моему, очень хорошо сделал — шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую.

‹…› Темная, семилетняя ночь пала на Россию, и в ней-то сложился, развился и окреп в русском уме тот склад мыслей, тот прием мышления, который назвали *нигилизмом*.

Нигилизм (повторяю сказанное недавно в «Колоколе») — это логика без стриктуры, это наука без догматов, это безус ловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не превращает *что-нибудь* в ничего, а раскрывает, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*, — оптический обман и что всякая истина, как бы она ни перечила фантастическим представлениям, — здоровее их и во всяком случае обязательна.

Идет это название к делу или нет — это все равно. К нему привыкли, оно принято друзьями и врагами, оно попало в полицейский признак, оно стало доносом, обидой у одних — похвалой у других. Разумеется, если под *нигилизмом* мы будем разуметь обратное творчество, т. е. превращение фактов и мыслей в *ничего*, в бесплодный скептицизм, в надменное «сложа руки», в отчаяние, ведущее к бездействию, тогда настоящие *нигилисты* всего меньше подойдут под это определение, и один из величайших нигилистов будет И. Тургенев, бросивший в них первый камень, и, пожалуй, его любимый философ Шопенгауэр.

Когда Белинский, долго слушая объяснения кого-то из друзей о том, что дух приходит к самосознанию в человеке, с негодованием отвечал: «Так это я не для себя сознаю, а для духа… Что же я ему за дурак достался, лучше не буду вовсе думать, что мне за забота до его сознания…» — он был *нигилист*.

Когда Бакунин уличал берлинских профессоров в робости

отрицанья и парижских революционеров 1848 года в консерватизме — он был вполне *нигилист.* Вообще все эти межевания и ревнивые отталкивания ни к чему не ведут, кроме на сильственного антагонизма.

Когда петрашевцы пошли на каторжную работу за то, что «хотели ниспровергнуть все божеские и человеческие законы и разрушить основы общества», как говорит сентенция, выкрадывая выражения из инквизиторской записки Липранди, — они были *нигилистами*.

Нигилизм с тех пор расширился, яснее сознал себя, долею стал доктриной, принял в себя многое из науки и вызвал деятелей с огромными силами, с огромными талантами… все это неоспоримо.

Но новых начал, принципов он не внес.

Или где же они?

Сноски

1

Кандидат — лицо, сдавшее специальный «кандидатский экзамен» и защитившее специальную письменную работу по окончании университета, первая ученая степень, установленная в 1804 г.

2

Английский клуб — место собрания состоятельных и родовитых дворян для вечернего времяпрепровождения. Здесь развлекались, читали газеты, журналы, обменивались политическими новостями и мнениями и т. п. Обычай устраивать такого рода клубы заимствован в Англии. Первый английский клуб в России возник в 1700 году.

3

«*...но тут настал 48-й год*». — 1848 год — год февральской и июньской революций во Франции. Страх перед революцией вызвал со стороны Николая I крутые меры, в том числе запрет выезда за границу.

4

Оброк — более прогрессивная по сравнению с барщиной денежная форма эксплуатации крестьян. Крестьянин заранее «обрекался» дать помещику определенную сумму денег, и тот отпускал его из имения на заработки.

5

Маркиза — здесь: навес из какой-либо плотной ткани над балконом для защиты от солнца и дождя.

6

Он в самом деле вольный *(фр.)*.

7

Камердинер — (нем. *комнатный слуга*) — самый приближенный из слуг.

8

Приказчик — здесь: управляющий хозяйством имения.

9

Мещане — одно из сословий в царской России.

10

Воротище — остатки ворот без створок.

11

Ливрейная куртка — короткая ливрея, повседневная одежда молодого слуги.

12

Костюм английского покроя (*англ.*).

13

Рукопожатие *(англ.)*.

14

Стал развязнее *(фр.)*.

15

Гамбсово кресло — кресло работы модного петербургского мебельного мастера Гамбса.

16

«Galignani» — «Galignani s Messenger» — «Вестник Галиньяни» — ежедневная газета, издававшаяся в Париже на английском языке с 1814 года. Получила название по имени своего основателя — Джованни Антонио Галиньяни.

17

Женская теплая кофта, обычно без рукавов, со сборками по талии.

18

Нигилист — отрицатель (от латин. *nihil* — ничего); нигилизм — система взглядов, имевшая распространение в середине XIX века. В

60-е годы XIX столетия противники революционной демократии называли нигилистами вообще всех революционно настроенных.

19

Вы все это переменили *(фр.)*.

20

Дай вам бог здоровья и генеральский чин. — Несколько видоизмененная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (действие II, явл. V).

21

Тулья — верхняя часть шляпы.

22

Протестовал себя — зарекомендовал, показал себя.

23

Бекас — небольшая птица, болотная дичь.

24

Шиллер Фридрих (1759–1805) — великий немецкий поэт, автор пьес «Коварство и любовь», «Разбойники» и др.

25

Гетте — искаженное произношение имени Вольфганга Гёте (1749–1832) — великого немецкого поэта и философа; друг Шиллера. Их обоих зовут поэтами «эпохи бури и натиска».

26

Либих Юстус (1803–1873) — немецкий химик, автор ряда работ по теории и практики сельского хозяйства.

27

Аза в глаза не видать — значит не знать самого начала чего-либо; аз — первая буква славянской азбуки.

28

Отсталый колпак — в то время старики носили ночные колпаки.

29

Львиные привычки — здесь: в смысле щегольских привычек «светского льва».

30

Фатство (или фатовство) — чрезмерное щегольство, от слова *фат* — пошлый франт, щеголь.

31

Пажеский корпус — привилегированное военное учебное заведение. В Пажеский корпус принимались исключительно дети крупных сановников.

32

Баден — знаменитый курорт.

33

Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852) — английский полководец и государственный деятель; в 1815 году при содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо.

34

Людовик-Филипп, Луи-Филипп — французский король (1830–1848); февральская революция 1848 года заставила Людовика-Филиппа отречься от престола и бежать в Англию, где он и умер.

35

Но я могу дать тебе денег *(фр.)*.

36

Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) — генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой Отечественной войны 1812 года. В 1816–1827 гг. командир отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии.

37

...разрозненный том Стрельцов. — Речь идет об историческом четырехтомном романе «Стрельцы» К. П. Масальского (1802–1861), вышедшем в свет в 1832 году. Произведения Масальского отличались неглубоким содержанием, но занимательной интригой.

38

В стиле эпохи Возрождения *(фр.)*.

39

Хорошо *(лат.)*.

40

Отец семейства *(лат.)*.

41

Сибаритствовать — вести праздный образ жизни. *Сибарит* — изнеженный, привыкший к роскоши человек.

42

Материя и сила *(нем.)*.

43

Бюхнер Людвиг (1824–1899) — немецкий естествоиспытатель и философ, основоположник вульгарного материализма. Его книга

«Материя и сила» в русском переводе появилась в 1860 году.

44

Общественному благу *(фр.)*.

45

Доктринерство — узкая, упрямая защита какого-либо учения (доктрины), даже если наука и жизнь противоречат ему.

46

Сентенция — краткое изречение поучительного характера.

47

Маратель, писака *(фр.)*.

48

«…наши художники в Ватикан ни ногой». — В Ватикане много музеев с ценнейшими памятниками искусства (живописи, скульптуры и т. д.). В 50–60-х гг. XIX века в русской живописи зарождается новое, реалистическое направление, получившее название передвижнечества. Молодые художники отказывались от традиционного академизма, требовавшего подражания классическим образцам, главным образом итальянского искусства, и выступали за создание русского самобытного искусства, проникнутого передовыми, демократическими идеями. Этим в значительной степени и объяснялось забвение Ватикана русскими художниками.

49

Рафаэль Санти (1483–1520) — величайший итальянский художник.

50

Старомодно *(фр.)*.

51

Добрый вечер *(фр.)*.

52

Извините, сударь *(фр.)*.

53

Мизантропический — нелюдимый, человеконенавистнический.

54

Губернский предводитель — предводитель дворянства, выборный из дворян, глава дворянства всей губернии.

55

Звезда (золотая или серебряная) — знак высшей степени некоторых орденов царской России.

56

Энергия — первейшее качество государственного человека *(фр.)*.

57

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский буржуазный историк и реакционный политический деятель. Стремился к созданию во Франции блока буржуазии с дворянством и к предотвращению революции.

58

Свечина С. П. (1782–1859) — писательница мистического направления. Жила главным образом в Париже. Ее сочинения (изданные в 1860 году) оживленно обсуждались в дворянских кругах русского общества.

59

Кондильяк Этьен де Бонно (1715–1780) — французский философ-идеалист. Основная его работа — «Трактат об ощущениях» (1754).

60

Шлафрок — домашний халат.

61

Самый излюбленный *(англ.)*.

62

Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788–1824) — великий английский поэт; обличал английское великосветское общество; был в России более популярен, чем в Англии. *Байронизм* — здесь: подражание Байрону и его романтическим героям.

63

Прошло его время *(фр.)*.

64

Гуж — ремень, которым стягивали оглобли у телеги. Для этого нужна была физическая сила.

65

Бурдалу Луи (1632–1704) — французский проповедник. Проповеди Бурдалу переведены на русский язык в начале XIX века.

66

Вязь — старославянский шрифт, в котором все буквы связаны и переходят одна в другую.

67

Свободная от предрассудков *(фр.)*.

68

Войдите *(фр.)*.

69

Жорж Санд (1804–1876) — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван, автора романов, проникнутых освободительными идеями.

70

Эммерсон Рольф Уолдо (1803–1882) — американский писатель и философ-идеалист.

71

«Какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич!» — Как это установлено, Тургенев здесь иронически намекает на сотрудников «Современника» Г. З. Елисеева (1821–1891) и М. А. Антоновича (1835–1918).

72

Патфайндер (следопыт) — герой романов «Кожаный чулок», «Следопыт», «Прерия», «Последний из могикан» американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851).

73

Гейдельберг — город на юго-западе Германии, где находился старейший германский университет (основан в 1386 году).

74

Бунзен Роберт (1811–1899) — выдающийся немецкий ученый, профессор химии в Гейдельбергском университете.

75

Моя приятельница *(фр.)*.

76

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский публицист, экономист и социолог, один из основателей анархизма; противник эмансипации женщин. Маркс подверг уничтожающей критике реакционные взгляды Прудона.

77

Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) — английский историк. Главная работа — «История Англии».

78

Домострой — памятник русской литературы XVI века, свод правил семейно-бытового уклада; проповедует суровую власть главы семьи — мужа. Слово «домострой» в XIX веке являлось символом всего косного и деспотического в семье.

79

О любви *(фр.)*.

80

Как истинный французский рыцарь *(фр.)*.

81

Очарован *(фр.)*.

82

«Зют», «Черт возьми», «Пст, пст, моя крошка» *(фр.)*.

83

Неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего: «если б я имел» *(фр.)*.

84

Безусловно *(фр.)*.

85

Ипохондрия — психическое заболевание, выражающееся в мнительности и стремлении преувеличить свои болезненные ощущения; мрачность.

86

Превосходно *(лат.)*.

87

Фреской *(итал.)*.

88

Высший, торжественный стиль (фр. *grand genre)*.

89

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — выдающийся русский государственный деятель, автор демократических реформ. Под давлением реакционного дворянства в 1812 году отстранен от государственной службы и выслан из столицы. Был сыном священника.

90

Спич (англ.) — речь, обычно застольная, по поводу какого-либо торжества.

91

Кнесь — манерное произношение слова «князь».

92

Для вида (фр. *contenance* — осанка, вид).

93

Ремизиться — *Ремиз* (в карточной игре) — штраф за недобор

установленного числа взяток.

94

Желтый дом — первая психиатрическая больница в Москве.

95

Тоггенбург — романтический герой баллады Ф. Шиллера «Рыцарь Тоггенбург», долгие годы просидевший у монастыря, где находилась его возлюбленная, в ожидании, чтоб «у милой стукнуло окно».

96

Миннезингеры, трубадуры — средневековые поэты-певцы, принадлежавшие к рыцарскому сословию и воспевавшие преимущественно любовь.

97

Чуйка — верхняя одежда, длинный суконный кафтан.

98

Пелуз и Фреми. Общие основы химии *(фр.)*.

99

Гано. Элементарный учебник экспериментальной физики *(фр.)*.

100

Настоящий мужчина (*homme fait*) *(фр.)*.

101

Гуфеланд Христофор (1762–1836) — немецкий врач, автор широко в свое время популярной книги «Искусство продления человеческой жизни».

102

Крез — царь Лидии (560–546 гг. до н. э.), государства Малой Азии, обладавший, по преданию, неисчислимыми богатствами; в нарицательном смысле — богач.

103

Всякому свое *(лат.)*.

104

Здесь: предпочтение *(*фр. *préférence)*.

105

Лазаря петь — калики перехожие и слепцы, чтобы разжалобить слушателей, пели стих о евангельском Лазаре. Здесь в переносном смысле — жаловаться.

106

«Отдать землю исполу» — отдавать землю в аренду за половину урожая.

107

«*Друг здравия*» — врачебная газета, издававшаяся в Петербурге с 1833 по 1869 год.

108

Френология — псевдонаука о зависимости психики человека от наружной формы черепа.

109

Шенлейн, Радемахер — немецкие ученые, медики.

110

Гуморалист (от лат. humor — жидкость) — сторонник имевшей хождение идеалистической теории, по которой причины болезней коренятся в нарушении соотношения соков в организме.

111

Гоффман — немецкий ученый, медик.

112

Броун — крупный английский врач-терапевт.

113

Вот и все (*voila tout, фр.)*.

114

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842) — русский генерал, известный участник Отечественной войны 1812 года на петербургском направлении. Позже командовал второй армией на Юге, в Тульчине, где был штаб декабристов Южного общества.

115

«Тех-то в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете… всех знал наперечет». — Василий Иванович намекает на декабристов-южан, привлеченных к суду Николаем I в связи с восстанием 14 декабря 1825 года.

116

В травах, словах и камнях *(лат.)*.

117

Отправился к праотцам *(лат.)*.

118

«…о тяжких опасениях, внушаемых… наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса». — Борьба Италии за освобождение от иноземного владычества и за национальное объединение привлекала внимание русского общества 60-х гг. Этот вопрос горячо обсуждался в русской периодической печати, в

частности в революционно-демократическом «Современнике» и в «Свистке».

119

Гораций Флакк Квинт (65–8 гг. до н. э.) — знаменитый римский поэт. В своих одах и посланиях воспевал наслаждения жизнью на лоне природы.

120

Морфей — бог сна в античной мифологии.

121

Иоанн Предтеча — по преданию, предшественник и провозвестник Иисуса Христа. Был казнен по требованию Иродиады, мстившей ему за разоблачение ее порочной жизни. (Библ.)

122

«Алексис, или Хижина в лесу» — сентиментально-нравоучительный роман французского писателя Дюкре-Дюминиля (1761–1819). В переводе на русский издавался в 1794, 1800, 1804 годах.

123

Цинциннат Луций Квинкий (VI–V вв. до н. э.) — римский патриций, консул. Вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю; снискал славу образцового гражданина.

124

«…надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав». — Руссо Ж.-Ж. (1712–1778) — французский просветитель, демократ и гуманист, враг аристократии. В своей книге «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) противопоставлял современное ему общество «счастливой жизни людей» в «естественном» состоянии, вне губительных влияний роскоши и излишеств, свойственных, по его мнению, современной цивилизации. Одним из условий воспитания и счастливой жизни человека Руссо считал физический труд.

125

Бесплатно (*лат.*).

126

Даром (*лат.*), по-любительски (*en amateur*) *(фр.).*

127

Новый человек (*лат.*).

128

Дружище (*лат.*).

129

«На бой, на бой, за честь России». — Здесь почти с буквальной точностью воспроизведены слова, сказанные о стихах А. С. Пушкина писателем-разночинцем Н. В. Успенским при его встрече с

И. С. Тургеневым в Париже в 1861 году. В связи с этим Тургенев писал П. В. Анненкову: «На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: „На бой, на бой за святую Русь“.

130

Кастор и Поллукс (они же Диоскуры) — мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь — в смысле: неразлучные друзья.

131

Владимир — в данном случае: один из царских орденов.

132

Фиоритура — музыкальное украшение мелодии.

133

Опекунский совет — учреждение, возглавлявшее Московский воспитательный дом, при котором была ссудная касса, производившая разного рода кредитные операции: выдачу ссуд под залог имений, прием денежных сумм на хранение и т. д.

134

Спокойно, спокойно *(фр.)*.

135

«по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян». — Большинство дворянства Прибалтийского края (Эстландии, Лифляндии, Курляндии) в вопросе об освобождении крестьян стояло на крайне реакционных позициях. Опасаясь, что освобождение крестьян с землей в русских губерниях вынудит их дать землю прибалтийским крестьянам (освобожденным ранее без земли), остзейские (т. е. прибалтийские; Остзее — немецкое название Балтийского моря) дворяне доказывали, что частная собственность на всю землю — неотъемлемая привилегия дворянства. «Остзейский» способ освобождения, обрекавший крестьян на батрачество, был осужден передовой русской общественностью.

136

Креозот — пахучая дезинфицирующая жидкость. Ею, например, пропитывали шпалы.

137

Как подобает *(*фр. *comme il faut).*

138

Имеющий уши да слышит! *(фр.).*

139

Полезное с приятным *(лат.).*

140

Головокружение *(фр.)*.

141

Госпожа Ратклиф (Редклифф) — английская писательница (1764–1823). Для ее произведений характерны описания фантастических ужасов и таинственных происшествий.

142

Пиль Роберт (1788–1850) — английский государственный деятель, консерватор.

143

Ложитесь *(фр.)*.

144

В том же роде *(фр.)*.

145

Свояченицей *(фр.)*.

146

В девятнадцатом веке *(фр.)*.

147

Что за мысль! *(фр.)*.

148

Где больной? *(нем.)*.

149

Уважаемый коллега *(нем.)*.

150

Уже умирает *(лат.)*.

151

Сударь, по-видимому, владеет немецким языком *(нем.)*.

152

Я… имею… *(нем.* ich habe*)*.

153

Прощайте! *(англ.)*.

154

Весьма почтенным *(фр.)*.

155

Господин барон фон Кирсанов *(нем.)*.

156

Плохо воспитанного и дурного тона (*фр*.).

157

С птичьего полета (*фр*.).

158

И всякие прочие (*ит*.).